Историко-революционная библиотека

Л. Г. Дейч

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭМИГРАЦИЯ 70-х ГОДОВ

М. БАКУНИН, Л. ВАРЫНСКИЙ, С. ДИКШТЕЙН, М. ДРАГОМАНОВ, Н. ЖУКОВСКИЙ, П. КРОПОТКИН, П. ЛАВРОВ, З. РАЛЛИ, А. ЭЛЬСНИЦ и П. ТКАЧЕВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ ✱ 1920

Первая Государственная Типография, Гатчинская, 26

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭМИГРАЦИЯ 70-х ГОДОВ.

I.

РЕДАКЦИЯ АНАРХИЧЕСКОГО ОРГАНА «ОБЩИНА».

После побега из киевского тюремного замка, весной 1878 года, мы, «чигиринцы», как называли тогда товарищи Стефановича, Бохановского и меня, решили отправиться за границу. При содействии члена общества «Земля и Воля», известного Арона Зунделевича, заведывавшего «иностранным департаментом», т.-е. контрабандным путем, нам это легко удалось осуществить, и летом того же года мы прибыли в Швейцарию.

Звезд первой и, особенно, второй величины было тогда в Женеве довольно много. Можно даже сказать, что ни раньше, ни позже наша политическая эмиграция в Западной Европе не была столь богата выдающимися людьми, как в период, охватывающий конец 70-х и первую половину 80-х годов XIX века. Достаточно привести только следующие имена: П. Лавров, М. Драгоманов, Г. Плеханов, П. Ткачев, Л. Мечников, П. Кропоткин, С. Кравчинский, В. Засулич, П. Аксельрод, Л. Тихомиров, Л. Варынский, С. Дикштейн и др. Многие из этих лиц оставили, как известно, очень глубокий след в нашем освободительном движении, другие сошли давно незаметно в могилу.

Указанный период замечателен еще тем, что в эмиграции имелись представители если не всех, то большинства тайных обществ и кружков, действовавших в России в 60-х и 70-х годах. Там находились также участники многих политических процессов. В эмиграции были тогда представлены все идейные течения, существовавшие в среде нашей радикальной интеллигенции во второй половине минувшего столетия. Из этих течений одни в конце 70-х годов, когда я очу-

*

тился в эмиграции, доживали последние дни, конец других был уже близок, а третьи тогда только возникали и продолжают существовать до настоящего времени.

Самым крупным из всех течений 70-х годов бесспорно следует признать бакунинское. Последователи «апостола всеобщего разрушения» безраздельно господствовали со второй половины указанного десятилетия как в России, так и среди изгнанников. К ним принадлежало наибольшее число выдающихся эмигрантов; они, главным образом, занимались тогда устной и печатной пропагандой взглядов Бакунина. Эмигранты-анархисты больше, чем сторонники каких-либо других из существовавших тогда за границей политических течений, имели связей с действовавшими в России революционерами, а следовательно больше и влияли на последних.

Когда я очутился в эмиграции, почти все бакунисты сосредоточились в Женеве. Большинство их сгруппировалось вокруг начавшего выходить в том же году ежемесячного органа—«Община», являющегося, по отзыву историка нашего революционного движения А. Туна, «превосходным с литературной стороны» и «лучшим произведением революционной литературы».

Действительно, вокруг «Общины» собрались все наиболее даровитые и известные приверженцы Бакунина, исключая одного лишь П. Кропоткина. Кроме Аксельрода, Клеменца, Кравчинского, в этом журнале мы находим статьи Элизе Реклю, Драгоманова и бывших коммунаров—Артура Арну, Рудольфа Кана и др.

Редакционная коллегия «Общины» образовалась из представителей двух политических формаций, или поколений—из шестидесятников и семидесятников; к первым, кроме Н. И. Жуковского, принадлежали З. Ралли и А. Эльсниц; ко вторым—Аксельрод, Клеменц, Кравчинский и др. Ралли и Эльсниц совершенно неизвестны новейшим поколениям; между тем, в 70-х годах они играли довольно заметную роль среди заграничных бакунистов, и не следует предавать их имена полному забвению.

В качестве студентов Московского университета, З. Ралли и А. Эльсниц были замешаны в волнениях, происходивших в 1869 году в некоторых высших учебных заведениях обеих столиц. Затем их привлекли по Нечаевскому делу, но им удалось скрыться за границу. В Цюрихе, где в то время сосредоточились почти все русские студентки и эмигранты, Ралли и Эльсниц сблизились с Бакуниным и под его непосредственным воздействием скоро превратились в ярых его последователей. Но, спустя некоторое время, вследствие недоразумений, происшедших у них с ныне здравствующим другом и правой рукой Бакунина—Россом (Сажиным), они переселились в Женеву. Там они основали свою собственную наборную и присту-

нили к изданию анархических произведений. Так, сообща с Жуковским, ими составлена и издана была в 1875 году обширных размеров книга: «Сытые и голодные», имевшая в свое время некоторый успех и давно ставшая библиографической редкостью; затем, сообща с Гольдштейном, также замешанным в Нечаевское дело, а отчасти и при содействии П. Аксельрода и др., Ралли и Эльсниц стали в 1876 году издавать первую русскую популярную газету, называвшуюся «Работник».

Вообще Ралли и Эльсниц в средине того десятилетия проявляли довольно большую энергию и предприимчивость. Люди умные и образованные, они манерами и обращением производили впечатление настоящих европейцев. Ни во внешности их, всегда изящной, ни в приемах, вполне корректных, не было у них решительно ничего русского, а тем более—нигилистического, что так сильно бросалось в глаза, за редкими исключениями, у остальных эмигрантов. Кроме воспитания и довольно долгого их уже тогда пребывания за границей, отчасти эти внешние их отличия, быть-может, объяснялись также тем, что Ралли по происхождению румын, а Эльсниц был чуть ли не из остзейских баронов. Но оба они, как выросшие и воспитавшиеся в России, целиком преданы были ее интересам [1]).

Группа «Работник»,—как стали называться Ралли, Эльсниц и их друзья,—находилась в довольно близких сношениях с той московской социалистической организацией, которая вскоре затем вся почти была разгромлена и привлечена к известному процессу «пятидесяти». Эта группа также сносилась и с немногими уцелевшими от погрома «чайковцами»—с Д. Клеменцом, С. Кравчинским, Н. Морозовым, П. Аксельродом и др., приехавшими в эмиграцию в первой половине 70-х годов.

Под влиянием общественного оживления, вызванного в России русско-турецкой кампанией 1877 года, а также и начавшегося осенью того же года в Петербурге процесса 193-х, обе группы—«Работник» и «чайковцы»—решили совместно приступить к изданию органа, для чего соединили свои типографии. С января 1878 года начала, таким образом, выходить «Община».

Журнал этот совершенно не занимался изложением, а тем более разработкой принципов анархизма; за исключением одной помещенной в «Общине» посмертной статьи Бакунина, в ней не было ни-

[1]) Эльсниц в качестве вольно-практиковавшего врача, отошедшего от революционного движения, скончался лет около десяти тому назад в Ницце. Ралли и поныне здравствует, принимая деятельное участие в политической жизни Румынии, где, под фамилией Арборе-Ралли, он приобрел большую популярность.

какой другой, которая знакомила бы читателей с этим учением. Мало того: даже самый термин «анархия» почти совершенно отсутствует в этом органе, и вместо него всюду употребляется термин «федерализм», под которым многие противники централизма, даже и не причислявшие себя к последователям Бакунина, охотно подписывались. В этом органе также не было никаких специфически бакунинских лозунгов—ни призывов «делать бунты везде и всегда», ни отрицания пропаганды и знаний, ни ссылок на особенную революционность и чрезвычайную, будто бы, склонность русских крестьян к социализму, ни на присущий им «общинный дух» и пр. В этом отношении характерна помещенная в пятом номере «Общины» статья одного из ближайших друзей и ярых последователей Бакунина, соредактора—Н. И. Жуковского, о котором подробно сообщу ниже. В этой статье, озаглавленной «Реформы и революция», автор следующим образом определяет, как нужно действовать: «всегда и везде действовать против государства и вне государства; действовать всеми средствами, сообразно с условиями области, местности, в которой действуешь. Агитация, пропаганда словом, листок, книга, организация рабочих групп всякого рода, слагающихся для борьбы с патронатом во всех его формах и с властью, всегда и всюду защищающей интересы владельческого меньшинства, личное участие в вызываемых обстоятельствами народных бунтах и стачках—вот средства действия». Кроме первой фразы, смысл которой едва ли был вполне ясен самому автору, все остальные рекомендуемые им приемы действий охотно признал бы всякий революционер любого направления.

Еще шире, терпимее высказался по вопросу о том, что надо делать, другой редактор «Общины»,—П. Б. Аксельрод, в статье: «Переходный момент нашей партии». В ней он прямо признал «одинаково важными теоретическую пропаганду и организацию масс», что с точки зрения правоверных бакунистов первой половины 70-х годов являлось непростительной ересью. В названной статье Аксельрод придавал также «огромное значение деятельности среди городских рабочих», на что русские последователи Бакунина не обращали почти никакого внимания. Наконец, Аксельрод рекомендовал «обратить серьезное внимание на организацию в широких размерах социалистической прессы».

Этими и аналогичными взглядами, излагавшимися на страницах «Общины» заграничными бакунистами, они обнаруживали свое резкое отличие от большинства действовавших тогда в России «народников» и «бунтарей», также считавшихся последователями Бакунина. Даже по поводу вопроса об отношении к политической свободе существовало некоторое различие между бакунистами, действовавшими

в России и находившимися в изгнании. Хотя последние также считали «избирательную и парламентскую агитацию противной социалистическим принципам и вредной для развития революционного сознания рабочих», все же они допускали помещение в «Общине» статей профессора Драгоманова, открыто проповедывавшего необходимость конституции. Такая терпимость была совершенно немыслимой в описываемое время со стороны действовавших в России бакунистов.

Указанные отличия заграничных бакунистов от русских объяснялись тем, что они находились под непосредственным влиянием западно-европейского рабочего движения. А действовавшие в России их единомышленники совершенно не знали, да и мало тогда старались узнать, что происходит в более передовых странах. Подобно славянофилам, многие из последователей Бакунина, особенно из числа действовавших на юге «бунтарей», были искренно уверены в том, что «нам нечему учиться у Запада». Между тем, члены редакции «Общины» являлись тоже бакунистами, но окрашенными в европейский цвет и совершенно свободными от самобытных тенденций. Что же касается допущения в «Общине» статей Драгоманова, то, по объяснению, полученному мною впоследствии письменно от Аксельрода, это вытекло из составившегося у редакции взгляда на него, как на «умеренного анархиста», отличавшегося от бакунистов только меньшей революционностью, но близко стоявшего к ним по своим идеалам, по «конечной цели».

Нас, вновь приехавших тогда за границу «бунтарей», такая терпимость редакции «Общины» к Драгоманову крайне возмущала, что отчасти и выразил Стефанович в помещенном им в том же органе критическом разборе воззрений Драгоманова.

Как я уже выше упомянул, только посмертная статья самого Бакунина, озаглавленная: «Парижская коммуна и понятие о государственности», дает, да и то крайне слабое, представление об «идеале будущего общежития» с точки зрения последовательного анархиста.

«Будущая социальная организация должна быть основана единственно снизу вверх, путем свободной ассоциации и федерации, сперва в товариществах, затем в областях, в нациях»,—вот, в сущности, все, что сам родоначальник этого течения говорит о проповедываемом им анархическом строе. Из содержания этой статьи, как и других, помещенных в «Общине», нельзя составить себе представления о том, каким образом, по воззрениям Бакунина и его последователей, в анархическом общежитии будут организованы производство и распределение продуктов.

Здесь уместно будет привести некоторые объяснения, полученные мною, в ответ на мои вопросы, от одного из наиболее активных

редакторов «Общины»,—от П. Б. Аксельрода. «Между тем, как «народники-бунтари» в России,—пишет он,—проявляли стремление к узкому практицизму, склонны были смотреть сверху вниз на далекие «идеалы» и игнорировать западно-европейское рабочее движение,—«Община», наоборот, проникнута была сознанием необходимости и важности подчеркивать тесную связь, существовавшую между нашей революционной практикой и западно-европейскими социалистическими теориями. Заправские «народники-бунтари» не придавали пропаганде среди рабочих серьезного значения и стремились одеть социализм в сермягу, т.-е. превратить его исключительно в идеологию крестьянскую, с лозунгом «Земля и Воля»,—а в «Общине» раздавались голоса о важности пропаганды среди рабочих. Далее, под несомненным влиянием Драгоманова, мы, члены редакции «Общины», чуть-чуть не подменивали «анархию» федерализмом,—правда, лишь как переходной общественно-политической организацией. Мысль о «конечной цели» как будто совсем улетучилась из нашего сознания, заменившись представлением о федералистическом строе. Но это логически и психологически связано было с стремлением русских последователей Бакунина выработать приспособленные к условиям родной действительности и потребностям крестьян программу и тактику. Этим же стремлением объясняется и то, что «Община» не посвящала статей изложению анархизма: она ставила себе другую задачу. Но приверженность руководителей «Общины» к воззрениям Бакунина проходит красной нитью, пропитывает собою содержание статей всех авторов, вплоть до князя Черкезова».

Варлампий Черкезов, привлекавшийся по Каракозовскому, а затем по Нечаевскому делу и в средине 70-х годов бежавший из Сибири за границу, вел в «Общине» отдел «Внутреннее обозрение», подчас страдавший чрезмерной склонностью к обобщениям. Помню, например, что однажды, сообщив по русским газетам о происходивших случаях пожаров, закончил перечень их восклицанием: «таким образом, мы видим, что вся Россия горит!»—Это вы уже через чур хватили,—заявил Николай Иванович Жуковский, который, как мы ниже увидим, и сам не прочь был сделать любое смелое обобщение относительно России, в особенности пессимистического характера.

Кроме упомянутой выше статьи Аксельрода о «Переходном моменте», большой интерес в свое время представлял ряд его же очерков, помещенных в нескольких номерах «Общины» под общим заглавием: «Итоги германской социально-демократической партии», в которых с бакунинской точки зрения автор подвергал критике взгляды и тактику тогдашних руководителей немецкой рабочей партии.

Однако, несмотря на содержательность статей, корректный и выдержанный тон их, «Община» имела крайне ограниченный успех и распространение в России. Причиной тому было указанное уже выше отсутствие тогда у действовавших в России последователей Бакунина интереса почти ко всему являвшемуся с Запада. К этому индифферентизму в конце лета того же года присоединилось еще то обстоятельство, что в Петербурге основан был собственный орган народников—газета «Земля и Воля». К «Общине» пропал тогда всякий интерес. Просуществовав, поэтому, всего около года и издав за это время только девять номеров, этот лучший бакунинский орган зимой того же 1878 г. навсегда прекратился. После «Общины» никогда уже не возникало более изданий чисто бакунинского направления в минувшем столетии.

Некоторые из русских последователей Бакунина вскоре затем стали «народовольцами», другие—«социал-демократами», а иные совсем отстали от движения, уйдя в частную, семейную жизнь. Только очень немногие из находящихся теперь в живых бакунистов до сих пор остаются верными старым своим воззрениям. Самое видное место между последними бесспорно занимает Петр Алексеевич Кропоткин, семидесятипятилетний юбилей которого прошел совершенно незаметно, в виду современных событий, в декабре 1917 г.

II.

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ КРОПОТКИН.

До приезда за границу мы с ним никогда не встречались. Среднего роста, лет 35-ти на вид, с большой светло-русой бородой, совершенно лысый, в очках, Кропоткин нисколько не напоминал революционера-анархиста. Он был чрезвычайно подвижен, говорил быстро и плавно и с первого раза производил очень благоприятное впечатление своей простотой, очевидной искренностью и добротой.

Встретились мы с ним, как хорошие старые товарищи, что было вполне естественно, так как в то время мы принадлежали к одному с ним—бакунинскому—лагерю.

Завязавшийся общий разговор в квартире П. Б. Аксельрода вращался вокруг событий того времени, причем мы, приехавшие, конечно, являлись главными повествователями. Вскоре Кропоткин предложил мне и Стефановичу пройтись с ним по городу: ему, очевидно, хотелось поговорить с нами наедине, чтобы ближе узнать нас.

Когда мы очутились на улице, Кропоткин стал расспрашивать о чигиринской нашей попытке вызвать восстание; при этом он исключительно обращался с вопросами ко мне, что меня несколько удивляло, так как главным автором и инициатором этого дела был Стефанович, чего Кропоткин не мог не знать. Странность эта вскоре разъяснилась. Оказалось, что Аксельрод, рекомендуя нас, не назвал каждого по фамилии, а произнес лишь: «ну, вот они, беглецы». Кропоткин, по внешним нашим чертам, сам решил, кто из нас Стефанович—и как раз ошибся, приняв меня за него и наоборот. Только спустя несколько дней он узнал про свою ошибку. Такое же недоразумение случилось и с некоторыми другими нашими новыми знакомыми в Женеве.

Чигиринское дело очень интересовало Кропоткина. Расспрашивая нас о нем, он решительно ничем не обнаружил отрицательного или неодобрительного своего отношения к употребленному нами в этой попытке приему мистификации крестьян.

Во время первой нашей с ним беседы, как неоднократно и впоследствии, он с чрезвычайным увлечением рассказывал нам о неимоверном, по его отзыву, росте и успехе анархического движения в Европе, вообще, и в Швейцарии—в особенности.

Если не ошибаюсь, незадолго до нашего приезда, им, вместе с знаменитым географом Элизе Реклю, основан был в Женеве небольшой листок на французском языке, под заглавием «Лавангард», посвященный пропаганде анархических взглядов. По сообщению Кропоткина, листок этот имел «значительный успех», хотя, помнится мне, он выходил всего раз в две недели в количестве одной или полуторы тысяч экземпляров.

Проходя с нами, во время первой нашей прогулки, мимо киосков, продававших газеты, Кропоткин обязательно спрашивал эту свою газету, объяснив нам, что цель его—побудить торговцев держать и этот орган.

После первого знакомства мы довольно часто виделись с ним, и между нами установились хорошие отношения. Жил он довольно скромно, занимая от хозяйки одну меблированную комнату (он был тогда холостым человеком), столовался в той же дешевой демократической кухмистерской, как и другие несемейные эмигранты, и одевался не лучше, «если не хуже», любого европейского рабочего.

Кропоткин был всегда завален работой: писал для разных ученых органов, переводил для наших ежемесячных журналов с иностранных языков, которых знал множество; но более всего времени отнимали у него, кроме издаваемого им французского листка, частые выступления на анархических собраниях. Он считался выдающимся оратором. Действительно, Кропоткин обладал всеми качествами, необходимыми для влияния на массы: привлекательной внешностью, страстностью, пламенностью, хорошим голосом и дикциею. По всесторонности развития он несомненно стоял значительно выше всех тогдашних последователей Бакунина, не исключая и Реклю.

Главное его внимание посвящено было пропаганде анархических взглядов среди местного населения французской Швейцарии. Своим соотечественникам, как жившим за границею, так и находившимся на родине, он уделял мало внимания, хотя, живя в Женеве, почти всегда являлся на русские собрания и принимал очень активное участие в дебатах.

В пропаганду и агитацию на французском языке Кропоткин вкладывал тогда всю свою душу. О ней он готов был всегда говорить, проявляя при этом неимоверное, чисто юношеское увлечение. Он не допускал никаких сомнений относительно чрезвычайного, будто бы, роста анархического движения, чего, однако, не замечали даже лица, целиком разделявшие его взгляды. При малейшем разно-

гласии Кропоткин становился совершенно неузнаваемым: начинал говорить в повышенном тоне, сильно горячился и допускал резкости, оскорбительные для собеседника. Одновременно существовали как бы два Кропоткина: один—корректный, простой, добрый товарищ и интересный собеседник, другой—пылкий спорщик, готовый вцепиться в неодинаково с ним верующего.

Но в общем первый Кропоткин все же брал верх. После самого горячего спора, когда, казалось, он уже никогда не примирится со своим противником, Кропоткин, как ни в чем не бывало, готов был мирно с ним беседовать, но только на нейтральные темы. Зная его пылкий темперамент, проявлявшийся лишь в жгучих для него вопросах, окружающие нисколько не сердились за его резкости. Решительно все, как русские, так и иностранцы, относились к нему с большим уважением и симпатией. Его признавали искренним, простым и добрым человеком и, само собою разумеется, высоко ценили его серьезное отношение к общественным вопросам, а также необыкновенную его трудоспособность, знания и пр.

Но, несмотря на общее к нему расположение и наличность довольно большого числа единомышленников, Кропоткин, видимо, чувствовал себя одиноким: он не имел около себя ни единого вполне близкого, дорогого ему лица. Поэтому даже обилие занятий, поглощавших все его время, не удовлетворяло его,—он все же искал личной связи, личного сближения.

Вскоре после нашего приезда в Женеву туда же прибыла чуть ли не из Сибири молодая интеллигентная девушка, намеревавшаяся учиться в местном университете. На наших глазах Кропоткин познакомился с нею, и, спустя короткое время, она стала его женой. Брак этот, несмотря на значительную разницу в летах, оказался очень счастливым. Мы все от души порадовались за Петра Алексеевича.

* * *

Во время одной из первых наших встреч Кропоткин посоветовал мне и Стефановичу посещать заседания женевской секции анархистов. Последовав этому предложению, мы очутились внутри кафе, где происходили ее собрания, но я там почувствовал большое разочарование. То было первое рабочее собрание, на котором я присутствовал. Отправляясь за границу, я предполагал, что там всюду происходят многочисленные собрания в обширных помещениях, где произносятся зажигательные речи и раздаются оглушительные аплодисменты. Вместо этого я увидел небольшую кучку людей, свободно расположившихся вокруг одного стола в слабо освещенной задней комнате невзрачного ресторанчика.

Наиболее активным лицом, как на этом, так и на всех дальнейших заседаниях, посещавшихся мною в течение некоторого времени, вносил предложения, давал разъяснения, предлагал проекты резолюций и т. д., был Кропоткин.

Меня, как и некоторых других русских, несмотря на нашу, сравнительно с Кропоткиным, молодость,—мне тогда было 23 года, а ему лет 36—37,—довольно скоро стал удивлять пыл, проявляемый им во время этих заседаний. Нам казалось совершенно непонятным, как могли его, серьезного и занятого учеными трудами человека, увлекать незначительные, большею частью, вопросы, во все детали которых он неизменно вникал. Получалось впечатление, словно зрелый человек принимает горячее участие в развлечениях подростков.

Но из неоднократных разговоров с Кропоткиным на эту тему мы убедились, что он действительно придавал серьезное значение всем крохотным делам местной секции. Уже и тогда, по нашему мнению, та горсточка швейцарских ремесленников и рабочих, ради которых он совершенно оставил заботы о революционном движении на его родине, не давала ни малейших надежд стать чем-нибудь более значительным и в будущем. Но Кропоткин совсем иначе смотрел на положение анархического течения в Западной Европе, вообще, и в Швейцарии—в частности. Как себя самого, так и других он старался уверить, что наступила лишь незначительная, к тому же только кратковременная, задержка в развитии анархического течения, вследствие полученного французским пролетариатом, после поражения Парижской Коммуны, чрезвычайного кровопускания; но рабочее движение уже стало оправляться от тяжких ударов, и вскоре вновь начнется усиленный приток сил в ряды анархических секций. При этом он с чисто юношеским умилением и ликованием указывал на те или другие, в сущности незначительные, факты, подтверждавшие, как ему казалось, основательность его надежд. «Вот еще недавно,—говорил он, например,—мы печатали нашу газету в 1000 экземпляров, а теперь требуют уже 1500!» Или он сообщал, что раньше на заседания секции приходило всего 10—15 человек, а в настоящее время является по 25 и даже целых 30. И все такие «отрадные факты» вызывали неподдельную радость у этого безусловно искреннего человека. Замечу к слову, что пример увлечения Кропоткина, Лаврова и др. пожилых социалистов может отчасти служить наглядным опровержением тем утверждениям тогдашних наших реакционеров—да и одних ли их!—будто только «недоучившиеся юноши», которым к тому же «есть нечего», шли в революцию и увлекались «несбыточными планами», «химерами», «утопиями».

При сообщении о каком-нибудь «отрадном факте» по серьезному лицу Петра Алексеевича разливалась добродушнейшая улыбка. Мы,

слушатели, также улыбались по поводу его неимоверного оптимизма, а уже на что сами-то мы, юноши, склонны были ко всяким преувеличенным надеждам и разным утопиям.

Когда кто-нибудь из нас, являвшихся, вообще, единомышленниками Кропоткина, решался высказать ему свои сомнения насчет основательности его ликования, то это вызывало в нем чуть не бурю возмущения. «Как можно быть таким Фомой неверующим,—говорил он,—Вам приводят факты, а вы сомневаетесь!».

Пропаганда социализма, которою Кропоткин занимался в этой секции, не отличалась большим разнообразием. Главным образом, она сводилась к доказательству возможности обойтись без всякой, даже и выборной, «власти» в будущем совершенном строе.

— Если прежние революции,—восклицал он,—не вносили никакой существенной перемены в условия жизни трудящихся масс, то это происходило исключительно потому, что заправилы являлись «государственниками», «якобинцами», которые занимались обсуждениями всяких новых законов, вместо того, чтобы позаботиться о немедленном снабжении всех нуждавшихся пищей, жилищем и т. д.

По мнению Кропоткина,—которого, судя по последним его произведениям, он придерживался и до недавнего времени,—не представляется ни малейшей трудности «на второй день революции» наделить всем необходимым всех голодных, не имеющих платья, жилища и пр. Для этого нужно только предоставить «полную, ничем неограниченную свободу» населению, и «народ в 24 часа сам составит точный инвентарь всех имеющихся в каждом данном пункте предметов первой необходимости, а в 48 часов будут изданы в миллионах экземпляров подробные списки, в которых указано будет, где кто может взять все ему необходимое». И это совершится без всякого «начальства», даже выборного, мирно, без ссор и дрязг, ко всеобщему удовольствию, при содействии одних лишь «добровольцев», не облеченных никакой властью, и такие добровольцы всюду в любой момент найдутся в достаточном количестве.

Даже наиболее пламенные последователи Бакунина выражали сомнение, чтобы все могло действительно устроиться так скоро, тихо и гладко, как это изображал Кропоткин. При этом нетрудно было заметить, что он впадал в противоречия. Нападая, с одной стороны, на утопических социалистов за их готовность поместить всех в «фаланстерах», т.-е. в «социалистических казармах», а с другой—на сторонников научного социализма за признаваемый ими «государственный принцип», Кропоткин не замечал, что его собственные построения тоже сводились к неосуществимым, несбыточным надеждам, основанным только на его представлении о присущих людям чувствах «солидарности», «любви к ближнему» и т. п.

Поэтому, несмотря на пламенность его речей и энтузиазм, с каким он отстаивал свои планы будущего благополучия при торжестве неограниченной ничем свободы, аудитория, помню, не проявляла особенного восторга. Случалось, что некоторые из присутствовавших позволяли себе выражать сомнение насчет осуществимости его проектов, а иной решался даже вступить с ним в спор. Мне припоминается такой случай.

Однажды, когда Кропоткин особенно красноречиво доказывал, что всякое «начальство вредно», так как «власть портит», один рабочий-женевец, средних лет, спросил: «а как полагаете, товарищ, на пароходе, во время рейса, будет капитан или другое какое-нибудь главное лицо, распоряжениям которого все обязаны подчиняться?».

Вопрос этот нисколько не смутил Кропоткина: он стал доказывать, что даже и на пароходе можно будет обходиться без «начальника», так как среди пассажиров всегда найдется «доброволец», умеющий управлять пароходом; такое лицо возьмет на себя обязанности капитана, но без его власти над остальными, и все охотно будут следовать его «советам» и «указаниям», а не «требованиям» и «приказам» под угрозой разных наказаний.

— Спасибо,—воскликнул тот же рабочий,—я на таком пароходе не поехал бы: мне жизнь еще не надоела.

Взрыв одобрительного смеха покрыл его слова. Не помню, как на это реагировал Петр Алексеевич,—кажется, он также добродушно смеялся, но, конечно, остался при своем убеждении, что «всюду и везде можно обойтись без начальства, даже выборного».

Между ним и руководителями «Общины» существовали наилучшие отношения. Причиной тому, кроме единства во взглядах, было расположение, которое всякому, без различия направлений. внушали выдающиеся личные качества Петра Алексеевича. Насколько могу теперь припомнить, никто не вступал с ним в продолжительный спор, хотя кое в чем некоторые бывали с ним и несогласны. Иной, напр., находил, что он чересчур много времени и внимания уделяет швейцарцам, совершенно при этом игнорируя своих русских единомышленников. Другому досадно было, что он за все время своего пребывания тогда в эмиграции—более двух с половиной лет—не написал ничего для соотечественников и, в частности, ни в «Общине», ни в «Земле и Воле» не поместил ни одной статьи. Не нравилась многим также и крайняя его односторонность. Даже и по отношению к кардинальным для бакуниста вопросам о «власти» и «государстве» сторонники «Общины» не высказывали столь утопических взглядов, как Кропоткин. Из моих слов не следует, конечно, заключить, будто руководители «Общины»

пили на компромиссы или что они меньше преданы были принципам анархии, чем Кропоткин. Но, в противоположность Петру Алексеевичу, их внимание поглощено было насущными интересами и злободневными вопросами русского революционного движения. Насколько то было для редакции «Общины» доступно, она старалась передать западно-европейский опыт своим русским единомышленникам. Кроме того, некоторые из членов редакции «Общины» находились под прямым, а другие под косвенным влиянием «Капитала» Маркса, между тем как социально-революционные воззрения Кропоткина сложились, повидимому, под исключительным влиянием Бакунина и Прудона. Отсюда проистекала прямая противоположность между его фанатически враждебным отношением к Марксу и тем, какое проявляли к последнему руководители «Общины».

Когда, бывало, заходила у нас речь с членами редакции «Общины» об основателе научного социализма, они произносили его имя с благоговением. Признавая огромное значение за теорией Маркса для развития рабочего класса, они считали необходимым основательное изучение его главного произведения. Всего за несколько лет до описываемого мною времени, а именно в 1872 г., по настояниям Маркса и Энгельса, Бакунин, как известно, был на Гаагском конгрессе исключен из Интернационала, что, по мнению самого Бакунина и его последователей, было вопиющей несправедливостью. Воспоминание об этом акте было еще очень живо среди членов редакции «Общины», а потому благосклонное отношение их к Марксу является весьма характерным для определения умственного их настроения.

III.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЖУКОВСКИЙ.

Кропоткин, Аксельрод и некоторые другие эмигранты принадлежали к одному с нами поколению,—к тому же, что и мы, революционному движению начала 70-х годов. К этим новым, или молодым, эмигрантам наиболее тесно примыкали лица, эмигрировавшие в конце 60-х или в самом начале 70-х годов, после студенческих волнений в Москве и Петербурге, связанных отчасти с Нечаевским делом. Такими эмигрантами являлись уже названные выше Ралли, Эльсниц, Гольдштейн и Черкезов. Кроме этой группы, в Женеве имелись также лица, привлекавшиеся по разным отдельным делам, происшедшим в середине 60-х годов, напр., Зайцев, Соколов. Находились там и бывшие студенты Казанского университета, скомпрометированные вследствие местных волнений в начале 60-х годов, и др.

Некоторые из «стариков»,—хотя самому старшему из старожилов, Н. И. Жуковскому, не было еще 45 лет,—давно потеряли всякую революционную связь с родиной и жили своими личными или семейными интересами. Все они так или иначе устроились за границей, и, повидимому, уже не собирались никогда вернуться на родину, так как никто из них не питал надежды дождаться того счастливого времени, когда в России установятся свободные учреждения, и они, действительно, не дожили до революции. В большей или меньшей степени всем старикам присуще было скептическое отношение к старой их родине. Наиболее эксцентричный и выдававшийся из них, Жуковский, в своем пессимизме относительно России доходил до утверждения, что она в течение многих еще десятилетий, если не столетий, останется «варварской страной» и долго будет служить тормозом для общемирового прогресса.

При встрече с вновь приезжавшими из России лицами «старики» подробно расспрашивали их о господствовавших в ней порядках, о тамошних настроениях в обществе, о положении трудящихся масс и пр. Слыша сообщения о всякого рода злоупотреблениях и насилиях со стороны властей, а также о бедствиях народа, они с

грустью покачивали головой, и с уст их срывались горькие замечания.

Куда при моем императоре было лучше! — иронизировал в таких случаях Жуковский, имея в виду царствование Николая I, когда по всей стране раздавался свист шпицрутенов и кнутов, сопровождавшийся стонами и воплями тысяч истязуемых несчастных русских людей.

Николай Иванович Жуковский,—один из наиболее оригинальных и своеобразных типов, каких мне когда-либо случалось встречать,—являлся для молодых эмигрантов живой летописью прошлого.

Происходил он, если память мне не изменяет, из дворянской семьи Уфимской губернии и родился в 1833 г. Воспитание он получил изысканное: с детства говорил свободно по-французски, прекрасно играл на фортепиано, мастерски танцовал, ездил верхом. Учился в кадетском корпусе и, будучи военным, в начале 60-х годов за прикосновенность к польскому восстанию был арестован в Польше, но «Жондр Народовый» дал ему возможность бежать в Зап. Европу.

Прибыв в Лондон, где в то время находилась штаб-квартира Герцена и Огарева, благовоспитанный молодой человек, видимо, им понравился. Но, судя по его рассказу, в особенный от него восторг пришел Бакунин, что вполне правдоподобно, так как в разных исторических документах его имя нередко встречается рядом с именем Бакунина.

На глазах Жуковского произошло огромное число событий и фактов, а также дрязг и ссор. Все это очень живо сохранилось в его памяти, и он не прочь был без конца говорить об этом дорогом для него прошлом. Но, по свойству своего сангвинического, крайне подвижного характера, Николай Иванович был совершенно неспособен о чем-либо рассказывать связно, систематично, до конца. В виду постоянных перескакиваний с предмета на предмет его приходилось часто останавливать и возвращать к первоначальной теме.

Для Жуковского не особенно важно было, кто именно являлся его слушателем: ему необходимо было лишь с кем-нибудь сидеть в кафе, с полудня, а то и раньше, и вести речь, по-русски или по-французски, шумно, с сильнейшими жестикуляциями, от которых нередко летела на пол стоявшая перед ним на столике посуда.

Однако, было бы ошибочно заключить из моих слов, что всеми уважаемый Николай Иванович злоупотреблял крепкими напитками. Нисколько. Подобно лишь многим, принадлежавшим на Западе к богеме, Жуковский усвоил привычку проводить все свое свободное время—а таким были для него целые сутки—в кафе, где наскоро пробегаешь газеты, встречаешь знакомых, узнаешь новости, а главное, всегда имеешь возможность говорить, говорить без конца. Ка-

ждая узнанная здесь новость интересна в особенности потому, что ею можно тут же поделиться с другим, вновь пришедшим, а от него, в свою очередь, узнать еще что-нибудь. Смотришь,—незаметно прошло время, и можно перейти в другой излюбленный ресторан, где происходят новые встречи и беседы. А вечером идешь на французское или русское собрание, устраиваемое также в ресторане, и вновь пред тобою «консомация», разнообразящаяся соответственно времени дня, погоде и настроению: кофе сменяется абсентом, пивом, вином, чаем и т. д.

На Западе многие сотрудники периодической прессы в кафе изготовляют свои статьи, интервью и хроники. Жуковский в описываемое мною время числился соредактором «Общины», о которой я уже сообщил выше, но он нисколько не утруждал себя писательством. Неделями, а то и месяцами тщетно приставали к нему товарищи, чтобы он сдал обещанную им статью; для получения ее они, в конце-концов, прибегали к такому приему: Жуковского зазывали в отдельную комнату ресторана и, поставив на стол соответственную консомацию, запирали его снаружи на замок. Когда он, постучавши в дверь, заявлял, что статья готова, его выпускали. Нередко, однако, оказывалось, что приготовленная для него консомация до дна бывала опорожнена, а ожидаемая статья состояла всего из десятка или двух мало друг с другом связанных фраз. Да и таких «статей» на всем своем веку Николай Иванович написал немного.

То же почти происходило с его лекциями или рефератами. Многие из нас, молодежи, приставали к нему с просьбами прочитать лекцию о Международном обществе рабочих или о Парижской Коммуне, о чем у него, повидимому, имелись кое-какие личные впечатления. Но Жуковский совершенно не был способен сколько-нибудь продолжительное время систематически говорить даже о хорошо известном ему вопросе. Если, уступая энергичным и общим просьбам, он решался на это, то выходило нечто невозможное, бессвязное и комичное.

Такое отсутствие привычки к систематическим занятиям вызывало у многих тем большее сожаление, что Николай Иванович обладал блестящими, разнообразными способностями и значительным природным умом. На своем сравнительно долгом веку,—он умер 62 лет,—Жуковский едва ли прочел десяток книг, да и раскрыл, перелистал он немногие. Долгое пребывание среди выдающихся людей и многочисленные беседы с разными лицами по кафе давали ему достаточный материал для разговоров и споров, как в тесном кругу, так и на общих собраниях, о чем угодно и столь уверенным, авторитетным тоном, что слова его нередко покрывались шумными аплодисментами.

*

Правда, случалось ему также делать заявления, вызывавшие общий смех. Нисколько не смущаясь этим, он тут же вставлял какой-нибудь каламбур, который снова вызывал рукоплескания. Помню такой случай. Проф. Драгоманов на одном русском собрании доказывал необходимость вести в России пропаганду не только на «великорусском», но и на малорусском языке; при этом он сослался на Австрию, в которой социалисты, кроме немецкого, пользуются также языками польским, чешским и украинским. Жуковский, являвшийся тогда противником автономии местных языков, выступил с возражениями и, между прочим, указал на Бельгию, население которой состоит из фламандцев и валлонцев; «однако, никто не требует там, чтобы пропаганда велась и на валлонском языке».

— Да такого языка нет,—воскликнул Драгоманов.

— Ну, вот видите,—ответил Николай Иванович.—Как же вы хотите, чтобы пропаганда велась на языках всех народов, когда у некоторых из них не имеется собственного языка?

Гомерический хохот и гром аплодисментов были наградой находчивому, хотя и невежественному оппоненту.

Всюду, куда ни являлся Жуковский, он бывал желанным гостем,—речам его все охотно внимали. Положение первого лица в обществе он занимал даже в присутствии неизмеримо более его образованных людей,—напр., Элизе Реклю, Драгоманова, Льва Мечникова,—благодаря его остроумию, живости темперамента, находчивости и богатому прошлому. Значительную роль, несомненно, играло также его уменье держать себя с большим достоинством. Малейшее непочтительное замечание вызывало с его стороны самый резкий отпор. Он всегда готов был вцепиться не только в противника, но и в единомышленника за любую непонравившуюся ему фразу. Полемист он был умелый, едкий и резкий; поэтому редко кто решался состязаться с ним.

Вообще Жуковский был незлобивый, веселый и общительный человек, которого почти все любили—не только соотечественники, но также и иностранцы, особенно французы, с которыми в характере у него было много общего. В свою очередь и он больше всего любил французов и, наоборот, питал чрезвычайное нерасположение к немцам, что, главным образом, объяснялось известными столкновениями Бакунина с Марксом в Интернационале.

Суждения Николая Ивановича о лицах отличались большой оригинальностью, хотя далеко не всегда полнотой и определенностью. Помню, кто-то из нас спросил его, знает ли он Фридриха Энгельса.

— Как же, встречались на интернациональных конгрессах: рыжий немец, в пиджаке,—ответил Николай Иванович.

И в таком роде были все его «характеристики».

Никакое предприятие, большое или незначительное—конгресс, новый орган печати, банкет, товарищеский суд и т. п., — не обходилось без самого активного участия Николая Ивановича. В одном он председательствовал, в другом был секретарем и во всяком суетился неимоверно: делал распоряжения и, несмотря на всегда изысканный костюм, сам расставлял столы и стулья, как это казалось ему наиболее соответствовавшим данному случаю.

Все перечисленное и еще многое другое Жуковский делал вполне бескорыстно, хотя в то же время и без всяких материальных жертв с его стороны—больше из любви к движению, суетне, шуму. И все заранее мирились с неизбежными в этих случаях, со стороны Николая Ивановича, промахами, так как для него было тяжкой обидой устройство какого-либо предприятия без его участия. А огорчать его без крайней надобности решительно никому не хотелось. К Николаю Ивановичу обращались со всевозможными просьбами, и он всегда выражал готовность помочь всякому, как в общественных, так и в житейских, личных затруднительных положениях и обстоятельствах. Нужно ли было вновь приехавшему русскому записаться в префектуре, желал ли кто поступить в университет при отсутствии необходимых документов или только получить деньги с почты,— каждый обязательно разыскивал Николая Ивановича, и, хотя почти всегда с бесконечными проволочками и, конечно, с продолжительными совместными заседаниями в разных кафе, все же Жуковский в большинстве случаев оказывал посильное содействие.

Поймать его дома было не легким делом, так как туда он являлся только после полуночи и далеко не регулярно обедал с семьей. Последняя состояла из жены, во многих отношениях замечательной женщины, и двух прекрасных мальчиков, 9 и 10 лет.

Принадлежа к известной в России семье Зиновьевых, занимавших разные высокие посты, Аделаида Степановна молодой девушкой проживала с матерью за границей и где-то познакомилась с изящным и красноречивым эмигрантом. Молодые люди вскоре полюбили друг друга, и к ужасу матери-аристократки девушка согласилась выйти замуж за Жуковского. Родня, конечно, вознегодовала по поводу такого неравного брака, но в конце-концов все принуждены были примириться с случившимся.

Аделаида Степановна вошла в среду своего мужа, политического изгнанника. Его русские и иностранные товарищи высоко ценили природный ум, разностороннее образование, серьезность, а главное, твердый и вместе благородный характер бывшей аристократки, которая с большим тактом умела держать себя в демократической эмигрантской среде.

Как отчасти можно видеть из опубликованной Драгомановым переписки Бакунина, родоначальник анархии ставил Аделаиду Степановну во многих отношениях выше ее мужа. Она имела на Николая Ивановича самое благотворное влияние, удерживая его,—насколько это было возможно,—от многих промахов и ошибок.

Получая от богатой родни очень ограниченные средства, Аделаида Степановна, несмотря на изысканное ее воспитание, решительно все делала по хозяйству сама. Одними своими усилиями она создала разумную обстановку, стремилась дать мальчикам прекрасное воспитание, заботилась также о муже, который, благодаря ей, был вполне обеспечен и м' целиком отдаваться своему призванию—всюду и всегда говорить и агитировать.

Моя характеристика Жуковского, конечно, далеко не полна, но я дал то, что мог. До сих пор, насколько мне известно, в нашей печати никто не говорил об этом, во всяком случае, выдающемся человеке, в течение многих лет оказывавшем значительное влияние на длинный ряд молодых эмигрантов. Несмотря на недостаточную теоретическую подготовку, Жуковский, благодаря богатому запасу воспоминаний, приносил кое-какую пользу молодежи, с одной стороны, знакомя ее с прошлым нашего освободительного движения, а с другой—толкая мысль ее вперед, возбуждая в ней интерес к Западу и внушая почтительное отношение к ее корифеям.

Он не раз говорил нам, молодым «бунтарям», что, несмотря на все несправедливости, совершенные Марксом по отношению Бакунина, все-же следует высоко чтить его заслуги и изучать его «Капитал». Это, однако, не мешало ему самому довольствоваться лишь самым поверхностным знакомством из вторых и третьих рук с знаменитым произведением Маркса, которое он называл не книгой, а «кирпичом», ввиду будто бы тяжеловесности «Капитала». Во всех беседах о Марксе Жуковский любил повторять, как сам Бакунин советовал преклоняться пред автором «Капитала».— «Где бы и когда бы вы ни встретили Маркса,—говорил нам Бакунин,—отвесьте ему низкий, низкий поклон за это его произведение».

— И вот,—сообщил нам однажды Жуковский,—будучи на Ривьере, я завернул в Монте-Карло. Захожу в казино, где играют в рулетку, смотрю: Маркс стоит у одного из столов и смотрит на игру,—это было незадолго до его смерти, и врачи отправили его на Ривьеру. Я подошел к нему и, отвесив низкий поклон, назвал себя по фамилии. Он тотчас вспомнил меня по Интернационалу. Говорю: «учитель, мы все, хотя и бакунисты, глубоко вам признательны за ваш «Капитал».—А вы его читали?—спросил он.—Нет, учитель,—ответил я. Лицо Маркса приняло суровое выражение.—«Эту книгу нельзя читать», прибавил я. Маркс стал еще мрачнее. «Ее надо

изучать», сказал я. Маркс просиял. И затем мы долго с ним беседовали, прохаживаясь по казино.

Впоследствии эта встреча с Марксом послужила для находчивого Жуковского неисчерпаемым источником всякого рода рассказов, иллюстраций, доводов «за» и «против» тех или иных взглядов. Когда уже после смерти Маркса была основана нами, несколькими его последователями, группа «Освобождение труда», задавшаяся, как известно, целью распространять его воззрения среди наших соотечественников, Жуковский, как ярый бакунист, был, конечно, против нас. На помощь себе он привлек самого Маркса, который, будто бы, во время все той же знаменитой беседы с ним в Монте-Карло, сказал ему, что «его идеи в России неприменимы» и что мы, русские его приверженцы, «неправильно их комментируем».

В течение довольно долгого времени нельзя было в присутствии Жуковского заикнуться о чем-либо имевшем отношение к марксизму, чтобы он тотчас не вставил: «а вот Маркс, когда мы с ним встретились в Монте-Карло, сказал мне...» и т. д.

Когда, однажды, в присутствии нескольких лиц Жуковский в сотый раз повторил: «а вот Маркс мне сказал...», Г. В. Плеханов его остановил: «знаете, Николай Иванович, что Маркс потом рассказывал своим близким по поводу своей беседы с вами в Монте-Карло?»—А что?—спросил он.—Маркс сказал: «ну, и наврал же я Жуковскому по поводу русских моих последователей, а он, поди, теперь повсюду распространяет это».

— Кому же он это сказал?—с изумлением спросил Жуковский.

— Своему зятю, Лафаргу, — не моргнув глазом, ответил Плеханов.

В течение некоторого времени Жуковский не находил ответа; затем, покачав головой, он сказал с укором:

— Ну и скверный же у вас характер, Георгий Валентинович.

— Что же делать? Какой имею, с тем мирюсь,—сказал Георгий Валентинович.

Но с тех пор Николай Иванович перестал ссылаться на свою беседу с Марксом и, таким образом, лишился самого, казалось, неуязвимого аргумента против русских марксистов.

IV.

М. П. ДРАГОМАНОВ.

Совсем не то впечатление произвел на меня Драгоманов, какое я ожидал. По наслышке я знал его за много лет до встречи в Женеве. Как киевлянину, мне часто приходилось слышать о его деятельности в качестве лектора в университете, сотрудника местной либеральной газеты «Заря» и члена «Юго-западного отдела Географического общества». В виду крайне революционного тогда нашего настроения, деятельность «либерального профессора» не внушала нам ни малейшего к нему расположения. Наоборот, зная, что Драгоманов является украинофилом, или, как мы говорили, «хохломаном», мы склонны были даже видеть в нем «вредного реакционера». По нашему мнению, он своими «скучными и никому не нужными предприятиями», вроде «сборника малорусских народных преданий» или «песен», отвлекал передовую молодежь, и без того склонную к украинофильству, от единственно насущного и полезного дела—от общерусского революционного движения. У иных из нас нерасположение к «хохломанам» не имело, поэтому, границ, и они посылали по их адресу всевозможные, далеко не лестные клички.

В некоторой, хотя и очень незначительной, степени более умеренные из нас изменили к лучшему свое мнение о Драгоманове, когда распространился по Киеву слух, что он «по 3-му пункту» был уволен из университета и ему предложили уехать за границу. Но более ярых из нас, бакунистов-«бунтарей», даже и такое важное обстоятельство не особенно подкупило в пользу этого «хохломана».

С отъездом Драгоманова за границу киевские и другие украинофилы, сплотившись теснее, дали ему возможность приступить в Женеве к изданию журнала «Громада», а также разного рода брошюр и листков на малорусском языке. Получаясь на юге контрабандным путем, эти произведения оказывали некоторое влияние на молодежь, в чем мы, местные революционеры, видели прямой ущерб нашим задачам и стремлениям. Решительно все эмигранты самым благоприятным образом отзывались о Драгоманове, но в особенности

высоко его ценили, как человека и общественного деятеля, С. Кравчинский (Степняк) и П. Б. Аксельрод.

Хотя Драгоманов почти целиком поглощен был работой для своего украинского народа и по-русски лишь изредка писал ту или иную статью,—главным образом, по злободневным политическим вопросам,—тем не менее по всему видно было, что он за короткое время своего пребывания в Женеве успел приобрести огромное влияние на руководящую группу, издававшую в то время журнал «Общину» бакунинского направления. Редакция этого органа не только помещала в нем статьи Драгоманова, но в сильной степени считалась также с его взглядами. По признанию Аксельрода, редакция «Общины» признавала Драгоманова «умеренным анархистом», отличавшимся от бакунистов только меньшей «революционностью», но близко к ней стоявшим по своим идеалам, по «конечной цели».

Если ко всему этому присоединим, что Драгоманов отличался тогда довольно ровным характером, что он был очень прост, приветлив, предупредителен и, несомненно, являлся крупнее почти всех эмигрантов по уму и эрудиции, то неудивительно, что в русской колонии он играл тогда чуть ли не первую роль. Правда, Драгоманов не имел еще своей «школы» и последователей среди обще-русских изгнанников, все же авторитет его был очень значителен и, повидимому, постоянно возрастал.

Все это нам, вновь приехавшим, отчасти сохранившим о Драгоманове впечатление не как об «умеренном анархисте», а как о «либерале» и «хохломане», казалось не только в высшей степени странным, но и огорчительным, обидным.

В качестве ярых бакунистов, отрицавших всякие политические учреждения, мы приходили в недоумение, а то и в негодование, видя, что редакция анархического органа допускает печатание у себя такой ужасной ереси, как его статьи, в которых он доказывал необходимость в России конституции. Терпимость к Драгоманову со стороны наших единомышленников нам казалась прямо «возмутительной» и «преступной».

Кроме того, в русских, а особенно в малорусских, произведениях Драгоманова, с которыми, к слову, никто из членов редакции «Общины» не был знаком, вследствие их незнания малорусского языка,—мы находили, как нам казалось, несправедливое и даже оскорбительное отношение к русскому революционному движению и его участникам. Мы, поэтому, считали, что Драгоманов распространяет вражду и злобу к нам «среди украинского народа».

Легко себе представить, какой переполох вызвали эти наши указания и нападки на произведения М. П. Драгоманова среди женев-

ских эмигрантов, до нашего приезда веривших в него глубоко и высоко его ценивших.

Несомненно, Драгоманов был тогда социалистом, даже «анархистом», хотя и «умеренным». Человек с большой эрудицией, особенно по истории, он был знаком со всеми социалистическими учениями, начиная с утопических и кончая современными. Но, как во всем, Драгоманов и по отношению социализма был своеобразен. Он решительно ни с одной из социалистических систем не был согласен, находя в каждой из них те или иные изъяны и погрешности. Но он не выработал и не старался пропагандировать какую-нибудь свою самостоятельную теорию. Для него социализм был важен лишь как идеал, более или менее отдаленный: «когда-то он еще осуществится!» — говорил и писал он. Или, как он довольно недвусмысленно выразился в одном из своих малорусских произведений: «се дило затяжне!». Поэтому не стоило, мол, терять время на споры об этом отдаленном идеале.

Более интенсивно, чем структура будущего общества, Драгоманова интересовала политическая организация государства в настоящем. Заявляя себя «анархистом», он, как мы уже видели, в сущности, был лишь федералистом, т.-е. сторонником свободного союза областей и народов. Как сын Украины, разделенной между тремя государствами, Драгоманов являлся ярым противником всякого централизма. Но, как человек очень умный, образованный и склонный к реалистическому мышлению, он не верил в тот анархический идеал, который рисовался воображению Бакунина и его последователей, т.-е. в абсолютное безвластие.

На эту тему Драгоманов, по крайней мере при мне, не вел, однако, особенных споров с ярыми бакунистами. Не по его вине, а вследствие их собственного заблуждения, они принимали его за своего единомышленника, каким в действительности он никогда не был. Слыша горячие его нападки на всякого рода централизм, они, по недоразумению, принимали это за излюбленные ими анархические воззрения. В своих нападках на централизм Драгоманов являлся самобытным, своеобразным националистом: он требовал полной самостоятельности решительно для всякой народности, как бы незначительна она ни была. Он желал, чтобы каждому предоставлена была возможность всестороннего развития его языка, литературы, искусства, общественной жизни. Он требовал, чтобы пропаганда всяких прогрессивных, в том числе, следовательно, и социалистических, идей велась на языке того народа, среди которого данное лицо желает работать, а не на господствующем в государстве. В России, напр., он считал необходимым для социалистов вести пропаганду чуть не на языках всех народов, входящих в ее состав. Задолго до

появления «бундистов» он утверждал, что необходимо к еврейскому населению обращаться на жаргоне. Того же требовал он и по отношению латышей, литовцев, армян и др., не говоря уже, конечно, о малороссах.

Вопрос о языках являлся, таким образом, самым радикальным для Драгоманова. По поводу его он готов был вести бесконечные споры, во время которых чрезвычайно горячился и даже доходил до колкостей и резкостей, обзывая людей, несогласных с ним, «якобинцами», «государственниками», что в те времена считалось бранными словами, а то и просто называл их «великорусскими чиновниками, переодетыми в социалистический мундир».

Между тем, по тому времени—по состоянию наших сил и средств, вследствие незначительного контингента лиц, участвовавших в движении, а также в виду полицейских и других условий—осуществление требования Драгоманова на деле привело бы к рассеянию, распылению и без того ничтожных тогда революционных сил. Но Драгоманов и слышать не хотел о невозможности в те времена поделиться небольшому числу деятелей обще-русского движения еще на народности, к которым они принадлежали по своему происхождению. Он являлся в этом вопросе бо̀льшим утопистом, чем мы, так как требовал немедленного осуществления того, что стало возможно лишь с ростом оппозиционных сил, лишь при изменившихся условиях, два десятилетия спустя.

В небольшом, тесном кружке Драгоманов был очень привлекателен, неисчерпаем в рассказах и остроумен. Кроме анекдотов, шуток и разных курьезов, он в этих случаях многое сообщал из своего прошлого,—из детства, из времени его пребывания в гимназии, университете и своей доцентуры. Расскажу только об одном интересном эпизоде, о его полемике, когда он был еще студентом, с Добролюбовым, так как случай этот в свое время вызвал не мало толков.

Пирогов, будучи в конце 50-х годов назначен попечителем Киевского учебного округа, застал неограниченное применение телесных наказаний к учащимся в низших и средних школах. Являясь противником этого жестокого средства исправления, знаменитый ученый и педагог, вместе с тем, не желал производить прямого давления на учителей; он, поэтому, предоставил решение вопроса о применении в исключительных случаях телесного наказания педагогическим советам. Такая уступка со стороны Пирогова вызвала резкие на него нападки Добролюбова в «Современнике». И вот на защиту любимого попечителя выступил в печати юный студент Киевского университета М. П. Драгоманов. Он стал доказывать, что попечитель, будучи лично противником телесных наказаний, не желает лишь нарушать принцип автономии педагогических советов.

Добролюбов подписывал свои статьи против Пирогова инициалами «Д—в». Предполагая, что ни для кого не тайна, кто именно под ними скрывается, Драгоманов, по неопытности, назвал в печати полностью фамилию автора этих статей в «Современнике». За эту оплошность Добролюбов резко обрушился на неопытного поклонника Пирогова, заявив, что «этот юноша далеко пойдет». Незначительный, в сущности, случай этот впоследствии причинил не мало огорчений Драгоманову: при полемике с ним некоторые его противники всегда напоминали об этом его промахе и о злой характеристике, данной ему выдающимся нашим критиком и публицистом.

Не об одной только «старине глубокой» занимательно рассказывал нам тогда словоохотливый Драгоманов,—речь его касалась также современных вопросов и условий, характеристики некоторых тогдашних деятелей и многого другого.

Крайне непостоянен был Драгоманов в своих отзывах о действовавших тогда в России революционерах: он то ставил им в заслугу их самоотверженность, мужество, преданность делу, то очень резко на них нападал за малейший их промах, а нередко и без всякого к тому основания. Так, в семидесятых годах многие подсудимые, во время политических процессов, заявляли себя членами «русской социально-революционной партии», хотя ее в подлинном смысле слова еще и не существовало тогда. Но всем было ясно, что этим термином члены разрозненных кружков желали лишь указать на связывавшую социалистов разных оттенков общую цель, а также и на средство, которое, по их мнению, вело к ее осуществлению. За редкими исключениями, даже прокуроры понимали смысл этого наименования. Не так снисходительно относился к этому названию Драгоманов: при каждом поводе он то саркастически, то добродушно вышучивал «русскую социально-революционную партию».

— Что бы вы сказали,—говорил он нам,—если бы, положим, увидели надпись на вывеске: «мебельно-топорный магазин»? Вы, конечно, нашли бы это по меньшей мере странным. А между тем, в этом случае, хозяин магазина поступил бы лишь аналогично вам, называющим свою партию «социально-революционной». Как мебель не производится одним лишь топором, а для этого нужно применить еще много других инструментов, точно так же и социалистический строй не может быть достигнут только одним лишь революционным путем: для этого необходимы еще и другие средства, необходима разнообразная культурная работа и пр.

Обозначение же этой партии эпитетом «русская» Драгоманов считал не только в логическом смысле неправильным, но и несправедливым.

— На каком основании,—говорил он,—раз вы уже присвоили себе неподобающее название, вы нас, украинцев, исключаете из этой партии? Ведь мы же, не русские, а украинские социалисты, тоже работаем в России.

Как это нередко можно наблюдать у писателей с живым, «боевым» темпераментом, Драгоманов был совсем иным человеком в частной, интимной беседе, чем в своих произведениях. В беседах все находили его мягким, терпимым: с ним можно было толковать о самых жгучих, острых вопросах, не только не вынося тяжелого осадка, но, наоборот, находя его приятным собеседником. Не то испытывали некоторые из нас при чтении его писаний: в них он нередко бывал придирчив и несправедлив, а подчас взводил на несогласно с ним мысливших разные тяжкие обвинения, задевал правых и виноватых и, вообще, бывал невыносим, как критик и полемист.

Выше я уже упомянул про то, что, наряду с восхвалением русских революционеров за их стойкость, смелость и т. п., у Драгоманова нередко срывались также резкие упреки по их адресу за отсутствие у них тех именно черт, за которые он их одобрял.

«Мы [1]),—писал он в «Громаде», редактированном им украинском журнале,—умеем носить красное знамя только в карманах, а если между нами попадаются смельчаки, выносящие это знамя на площадь, то при одном появлении полиции они обращаются в бегство, бросая на площади тех, кто не может сказать ничего, кроме «знать не знаю».

Лица, знакомые с нашим прошлым, конечно, догадались, что так «объективно» Драгоманов изображал своим украинским читателям первую политическую демонстрацию, происшедшую 6 декабря 1876 г. на Казанской площади. Полагаю, мне незачем здесь доказывать, что изложение Драгоманова далеко не точно. По поводу этой же демонстрации он обвинял русских социалистов «в примирении с религией, церковью», так как они заказали в соборе панихиду, к тому же «по живому человеку» (Н. Г. Чернышевском).

Нам, незадолго лишь перед тем прибывшим, так сказать, с поля сражения и знавшим, каким жестоким преследованиям продолжали подвергаться оставшиеся на родине наши единомышленники,—не могло не казаться крайне обидным и вместе несправедливым, что Драгоманов, пребывавший в безопасности за границей, упрекал русских революционеров «в недостатке по части смелости». Мне и теперь, по прошествии нескольких десятилетий, это кажется несправедливым, а между тем, с этим тогда мирились многие эмигранты, в том числе Кравчинский, Аксельрод и др.

---

[1]) Т.-е., будто бы, русские революционеры. *Л. Д.*

Драгоманов был прав, когда доказывал, что русские революционеры того времени, сами того не сознавая и даже восставая против этого, чем дальше, тем все чаще выступали на борьбу за политические свободы, за конституцию. Он даже указывал на «опасность», как бы социальная сторона деятельности не отошла слишком на задний план у «русской социально-революционной партии», как бы и самая политическая борьба ее не свелась только к «истреблению отдельных шпионов и чиновников тайными революционными судами». В этом, как и в некоторых других случаях, Драгоманов проявил довольно большую политическую прозорливость, а также и значительную последовательность социалиста.

Не менее правым оказался он, когда доказывал, что «социалистическое движение нашего времени есть результат всего социально-экономического и нравственного прогресса и что только это положение дает нынешнему социалистическому движению силу политического учения, а не верования секты или мечты утопистов старого времени».

В описываемое мною время—в 1878—1879 г.г.—у Драгоманова, несмотря на явное нерасположение его к немецкому социалистическому движению, в виду централистического его характера, все же было больше точек соприкосновения с ним, чем с анархистами, к которым он, однако, сам себя причислял. Но нам, ярым тогда противникам «немцев», высказываемые Драгомановым воззрения казались полным противоречием социализму. А его утверждения, что мы, в сущности, ведем только политическую борьбу, приводили нас почти в бешенство. Дальнейший ход нашего революционного движения показал, что прав был тогда он, а не мы, в этом вопросе.

Из всех террористических актов, которые мы, бакунисты-народники, вначале называли тогда «дезорганизаторской деятельностью», Драгоманов вполне одобрительно относился только к оказываемым при арестах вооруженным сопротивлениям, так как в них, по его словам, наглядно проявлялась защита принципа неприкосновенности лица и жилища. Меньшим сочувствием пользовались с его стороны прямые нападения на должностных лиц.

* * *

Между поляками-патриотами и украинцами давно происходили нелады из-за поползновений первых причислять к своей «исторической Польше» местности, населенные другими народностями. Фактически, после тщетных попыток восстановить Речь Посполитую «от моря до моря», эти поползновения не причиняли почти никакого вреда малороссам, литовцам и другим не-польским жителям бывшей Польши. Но с давних времен украинцы с пылом и страстью

устремлялись в словесный бой, чуть только поляк делал какой-нибудь намек на то, что местность, населенную малороссами, он готов причислить к «исторической Польше».

В этом отношении Драгоманов превосходил всех своих сородичей: он с такой страстью и запальчивостью доказывал, какие местности можно причислить к Польше и каких нельзя, словно вопрос шел уже о том, чтобы сейчас поправить совершенную в далеком прошлом несправедливость. В целом ряде своих произведений на разных языках редактор «Громады» проводил неизменно тот взгляд, что все без различия выдающиеся люди, как поляки, так и русские, всегда обижали украинцев тем, что не разграничивали строго этнографическую Польшу [1]).

На этой же почве в описываемое время возникла у Драгоманова и его приверженцев с польскими и обще-русскими эмигрантами распря, в результате которой украинцы отказались посещать эмигрантские собрания и порвали всякие сношения со всеми, за исключением нескольких личных их друзей.

Как в описываемое мною время, так и теперь мне кажется, что главной причиной, побудившей Драгоманова порвать сношения со всей почти русской эмиграцией, было оскорбленное самолюбие. Играя в течение полутора-двух лет едва ли не первенствующую роль, он почувствовал себя оскорбленным, когда убедился, в виду двух-трех, в сущности, незначительных фактов, что вновь съехавшаяся в Женеву польская и отчасти русская молодежь готова открыто протестовать против того, что признает неверным в его заявлениях. С этим не мог примириться Драгоманов, и только здесь лежит разгадка головокружительно быстрого падения авторитета Драгоманова среди почти всей обще-русской эмиграции. Не следует забывать, что, хотя последняя была очень немногочисленна, насчитывая приблизительно в Женеве двадцать пять-тридцать человек, но и этот небольшой контингент лиц еще к тому же делился на самые разнообразные фракции, расходившиеся между собою по некоторым вопросам. Тем не менее, почти все эмигранты,—за исключением лишь трех-четырех украинцев и стольких же личных его друзей и приятелей,—сошлись на протесте против того самого Драгоманова, за которого еще совсем недавно многие готовы были, как говорится, стоять горой. Он скоро вооружил большинство против себя именно тем, что обнаружил чрезмерную требовательность и крайнюю обидчивость. Такие солидные и

---

[1]) Особенно исчерпывающим образом на этот счет высказался Драгоманов в ряде статей, печатавшихся в «Вольном Слове» и вышедших затем отдельной книжкой: «Историческая Польша и Великорусская демократия», представляющей большой интерес и до настоящего времени.

старые его приятели, как А. Эльсниц и Н. Жуковский, не стали бы на сторону его противников, если бы он первый не дал к тому серьезного повода.

Как бы то ни было, происшедший летом 1880 г. между Драгомановым и большинством эмигрантов разрыв уже не прекращался; наоборот, он все более обострялся и усиливался.

Но хотя Драгоманов со своими приятелями украинцами совершенно отошел от нас, все же между ним и остальными эмигрантами всегда имелись какие-нибудь посредствующие звенья, и жизнь его и его близких не являлась для нас полной тайной. Нередко мы узнавали, что происходит среди украинцев, что думает Драгоманов по поводу того или другого политического, а то и просто житейского факта. После 1 марта 1881 г. Драгоманов стал редактором журнала «Вольное Слово», основанного, как теперь оказывается, на средства черносотенного общества «Добровольная Охрана». В этом журнале Драгоманов всячески и самым резким образом нападал на всех без различия русских революционеров, обвиняя их в самых низких преступлениях.

V.

С. ДИКШТЕЙН и Л. ВАРЫНСКИЙ.

Среди эмигрантов-поляков одним из наиболее крупных был Семен Дикштейн. Ни по социальному своему положению, ни по воспитанию, характеру и привычкам он не походил на остальных польских социалистов-эмигрантов.

Сын очень бедных варшавских евреев, Дикштейн с раннего детства проявлял выдающиеся способности, необыкновенную любознательность и громадное трудолюбие. Вследствие крайней нужды, которую испытывали его родители, у мальчика не было никаких шансов попасть в гимназию. Но, будучи всего девяти лет, он как-то узнал, что существует такое училище, которое называется «гимназия» и что там даром можно многому научиться. Крохотный, рыжеволосый мальчик смело отправился по указанному ему адресу. Там он стал всех встречавшихся просить, чтобы его приняли в гимназию. Некоторые учителя, а затем и сам директор заинтересовались столь настойчивым мальчиком. Его тут же подвергли экзамену, который он хорошо выдержал; а так как в те блаженные времена еще не додумались до знаменитых «процентов» для евреев, то маленького Шимона Дикштейна зачислили в гимназию.

Нечего и говорить, что он учился превосходно и очень рано, лет шестнадцати, блестящим образом окончил гимназию, после чего поступил на естественный факультет Варшавского университета. Там Дикштейн, конечно, также чрезвычайно усердно занимался и в двадцать лет окончил курс со степенью кандидата.

Мечтой его тогда было целиком посвятить себя зоологии, к которой он питал особенно большую склонность. Но давно известно, что наши предположения нередко совершенно неожиданно разбиваются: вместо ученой карьеры на естественно-научном поприще, Дикштейн, вскоре по окончании университета, очутился в рядах первых польских социалистов, а затем, когда, как я уже выше упомянул, начались обыски и аресты, он вынужден был скрыться, после чего эмигрировал в Швейцарию.

Среди значительного количества выдающихся людей, которых мне пришлось на моем веку видеть, Дикштейн в особенности поразил меня своей изумительной трудоспособностью при полной нетребовательности его насчет всего житейского: он мог довольствоваться самой скудной и в ужасно ограниченных размерах пищей, работая при этом неимоверное число часов.

Наряду с этой чертой, выработавшейся, вероятно, с детства, у Дикштейна бросались в глаза его полная непритязательность, изумительная скромность и застенчивость. Мягкий, добрый и отзывчивый на нужды окружавших его, Дикштейн только после настойчивых доводов близких товарищей соглашался брать у них и то лишь крайне необходимое для поддерживания своего существования. Ограничивая себя самого решительно во всем, он всегда готов был, чем только был в состоянии, придти на помощь ближнему.

Из всех известных мне польских социалистов Дикштейн наиболее интенсивно занимался теоретическими вопросами и самым энергичным образом отдавался литературной деятельности на польском языке. Своими статьями, подписанными псевдонимом «Ян Млот», он заполнял значительную часть номеров «Рувносци» («Равенства»). Он также писал популярные брошюры для масс: из них озаглавленная «Кто с чего живет?»—получила большое распространение и была переведена на многие языки.

Кроме указанных черт, еще одна особенность отличала этого даровитого человека от его товарищей: несмотря на еврейское свое происхождение, Дикштейн являлся ярым, пламенным «поляком», страстно любившим «свой народ» и сильно болевшим душой за постигшие его многочисленные несчастия и страдания. Товарищи его, в особенности Мендельсон и Длуский, отпускали не мало шуток и острот по поводу пристрастия Дикштейна ко всему польскому, что заставляло этого скромного юношу краснеть, но нисколько не уменьшало вкоренившейся глубоко в его душе привязанности к дорогому ему краю.

Несмотря на плодотворную и не оставлявшую Дикштейну досуга деятельность, он все же сильно тяготился жизнью вдали от Польши, а потому рвался обратно, чтобы работать в качестве «нелегального». Но близкие товарищи не допускали его осуществить такое намерение, опасаясь, что, как «рыжий», он скоро попадется. К тому же они считали его крайне непрактичным человеком, совершенно неспособным приноравливаться ко всяким затруднительным условиям, связанным с жизнью на «нелегальном положении». Арест Дикштейна должен был, по предположению его друзей, погубить его. Увы, как ниже увидим, они все же не уберегли его от ранней смерти.

Из всех польских социалистов наша группа—«чернопередельцев», к которой я принадлежал—наиболее близко сошлась с Дикштейном, а затем с Людвигом Варынским и, вообще, с демократической частью польской эмиграции. Наоборот, богатые члены ее—Мендельсон, Яблоновская и Длуский—более всего сошлись с знаменитым Николаем Ивановичем Жуковским, о котором я уже рассказал выше. Элегантными, западно-европейскими манерами, костюмом, внешностью и пр. Жуковский наиболее соответствовал вкусам и потребностям Длуского, Мендельсона и Яблоновской, и с ними у него завязалась очень большая дружба. Последняя имела значительное влияние на изменение взаимных отношений в обще-русской колонии, что, в свою очередь, привело к некоторым конфликтам и расколам, отчасти отразившимся на нашем освободительном движении, поскольку, конечно, эмиграция играла на нем ту или иную роль.

Весной 1880 г. число польских социалистов сразу сильно увеличилось, благодаря приезду лиц, оправданных по знаменитому в те времена краковскому процессу. Главную роль между этими привлекавшимися сыграл Людвиг Варынский. На жизни и деятельности этого выдающегося человека мне придется остановиться несколько подробнее, так как, в сущности, он является главным инициатором польского социалистического движения.

Уроженец Киевской губернии, Варынский был сыном довольно богатого помещика, имение которого было конфисковано после польского восстания 1863 г. Отцу удалось затем арендовать обширное имение, что дало возможность ему с семьей не испытывать нужды и воспитывать детей. Людвиг с детства отличался выдающимися способностями, но был избалованным барчуком, не имевшим никаких демократических наклонностей. Учился он сперва в белоцерковской гимназии, а после окончания ее—в Петербургском технологическом институте. Там впервые он познакомился с русскими революционерами, что резко изменило его привычки, склонности и стремления. Будучи вскоре затем арестован и выслан на родину за участие в студенческих волнениях, Варынский целиком отдался изучению социальных вопросов и навсегда посвятил себя проповеди новых идей на польском языке.

С этой целью он в конце 1876 г. отправился в Варшаву, где, по примеру русских социалистов того времени, поступил в качестве рабочего на какую-то фабрику, на которой поработал около года. Тогда же у него произведен был обыск, бывший первым в Варшаве среди социалистов. Прожив затем некоторое время в Пулавах для организации социалистического кружка среди студентов местной земледельческой академии (Новой Александрии), Варынский весной 1878 г. снова вернулся в Варшаву, где открыл слесарную

мастерскую, явившуюся главным очагом местного социалистического движения.

Довольно скоро Варынский обнаружил значительные организаторские способности. Число спропагандированных им, сообща с другими прибывшими из русских губерний интеллигентными польскими социалистами, рабочих до того росло быстро, что, уже несколько месяцев спустя, он смог создать первую организацию, названную им «кассой сопротивления». Целью последней,—как показывает уже само ее название,—было содействовать борьбе рабочих с капиталистами за улучшение экономических условий трудящихся на фабриках и заводах. Движение росло чрезвычайно быстро. Посыпались доносы, и в конце лета начались обыски и аресты, продолжавшиеся несколько месяцев.

Варынского сильно разыскивала полиция; ему, поэтому, пришлось скрываться. Но он не пожелал эмигрировать. Перешедши на «нелегальное» положение, он продолжал действовать в Варшаве, агитируя и поддерживая бодрость среди падавших духом, вследствие начавшегося погрома, рабочих. Однако, вскоре ему стало невозможно более оставаться в Варшаве, где его знали многие шпионы и предатели. Он решил перекочевать в Галицию. Там, главным образом в Кракове и Львове, Варынский развернул столь же кипучую, энергичную деятельность, как раньше в Варшаве. В названных городах он организовал социалистические кружки из интеллигентов и рабочих.

По недолго длилась там его деятельность: месяцев пять-шесть спустя по приезде в Галицию он с несколькими десятками товарищей был арестован и предан суду по обвинению в государственном преступлении. Процесс, названный «делом Варынского и 33 его сообщников», разбиравшийся в течение нескольких недель в Кракове, весной 1880 г., вызвал в Польше большое возбуждение. Главным действующим лицом на нем явился Варынский, который своею речью привлек на сторону подсудимых общие симпатии. Присяжные заседатели оправдали всех подсудимых, что возбудило много толков в Австрии и не мало содействовало делу пропаганды социализма в Габсбургской империи.

После окончания этого процесса полиция позаботилась, чтобы «вредные иностранцы», т.-е. привлекавшиеся русские подданные, были высланы за пределы Австрийской монархии. Поэтому Людвиг Варынский с шестью товарищами, в начале лета 1880 г., приехал в Женеву, где мы с ним и познакомились.

Молодой человек, тогда лет 23—24 на вид, высокого роста, белокурый, с выразительными, энергичными чертами лица и кроткими, задумчивыми глазами, Варынский сразу производил чрезвы-

чайно благоприятное впечатление. Он говорил громко, выразительно, сильно подчеркивая некоторые слова. Уступая Дикштейну в теоретической подготовке, а также в любознательности и усидчивости, Варынский среди всех польских социалистов-эмигрантов выделялся, как самый блестящий оратор, организатор и практический деятель. Ему, несомненно, присущ был в большой степени дар увлекать массы, а в те времена у социалистов это являлось чрезвычайно редким свойством. Даже когда Варынскому приходилось говорить на обще-русских эмигрантских собраниях, в которых с первого же дня своего приезда он принял живейшее участие, чувствовалось, что он производил впечатление и на эту аудиторию, вообще не склонную к увлечениям. В каждой его фразе, сопровождавшейся энергичным жестом, слышались искренность и убежденность. Нетрудно было, поэтому, себе представить, насколько сильнее и убедительнее было впечатление от его речей, произносимых по-польски в соответствовавшей его настроению среде. Живи Варынский в другой стране, он несомненно мог бы занять очень выдающееся общественное положение и не погиб бы столь преждевременно.

Тотчас по приезде в Женеву Варынский принял деятельное участие в издававшемся его товарищами журнале «Рувносци», в котором поместил несколько статей. Но он не был публицистом и, повидимому, не обладал особенным литературным дарованием. Уже по одному этому жизнь в эмиграции должна была неимоверно его тяготить, и так же, как Дикштейн, он начал скоро рваться в Варшаву. Но осуществлению этого намерения отчасти помешали его семейные условия, а также и установившиеся у него с некоторыми членами группы «Рувносци» отношения. Молоденькая жена его,—сестра известного писателя Серошевского,—должна была разрешиться от бремени; когда же это случилось, почти полное отсутствие материальных средств лишало его возможности уехать.

Не в меньшей степени, чем Дикштейна, также и Варынского тяготила необходимость брать средства на жизнь у богатых своих товарищей—Мендельсона и К°; зарабатывать же средства на существование, будучи за границей и в его положении, не было никакой возможности. На этой почве подчас происходили, повидимому, неприятные конфликты между Варынским и аристократической частью группы «Рувносци». Привыкший к отношениям, господствовавшим в те времена среди революционеров в России, где все члены кружков, независимо от их личных материальных взносов, пользовались одинаковыми удобствами, Варынский считал не совсем правильным, что «фирма Мендельсона и К°», как мы иногда в шутку называли трех богатых членов польской социалистической колонии, не только жила неизмеримо комфортабельнее, чем демократическая ее часть, но также

старалась,—в силу находившихся у нее денежных средств,—накладывать свою руку на общие предприятия и играть в них преобладающую роль. В то время, как демократическая часть «Рувносци», состоявшая из шести-семи человек, довольствовалась весьма скудными средствами для существования, три «аристократа», имена которых я выше сообщил, вели жизнь на очень широкую ногу.

Этого не замечал или не хотел видеть всех идеализировавший, в особенности своих товарищей, Дикштейн. Но Варынский, как практик, не мог игнорировать этого: его крайне тяготили создавшиеся еще до его приезда условия жизни в группе «Рувносць». Правда, по присущей ему корректности, сдержанности и серьезности, он никогда не говорил об этом, а тем менее был способен кому-либо жаловаться на своих товарищей по делу. Но нам, часто с ним встречавшимся, не трудно было по некоторым мелким фактам и вскользь брошенным замечаниям самим уловить причины разногласий между Варынским и богатыми его товарищами.

* * *

Ради экономии, шесть членов демократической группы «Рувносць», с Дикштейном и Варынским во главе, на лето (1880 г.) поселились в деревне, расположенной в 10—12 километрах от Женевы. Там они устроились в одном домике на коммунальных началах, т.-е. они сами хозяйничали, стряпали по-очереди и т. д.

Случилось так, что и нам троим,—В. И. Засулич, Стефановичу и мне,—также пришлось выехать за город и, по предложению Дикштейна и Варынского, мы поселились в той же деревне поблизости от них, в меблированных комнатах, а столовались в их коммуне. Одно уже это обстоятельство в сильной степени содействовало нашему сближению со всеми польскими товарищами, в особенности же с двумя названными выше лицами. Но, помимо этого, нас с Дикштейном и Варынским связывало еще и единство во взглядах, привычках и стремлениях.

Как и они, мы считали себя лишь кратковременными эмигрантами, готовыми при первой возможности вновь вернуться нелегально на родину. К тому же, в то время мы начали уже расставаться с узко-народническими взглядами, которых польские социалисты были совершенно чужды: Дикштейн и Варынский уже тогда являлись вполне убежденными последователями Маркса, чем отчасти содействовали и нашему более близкому ознакомлению с его учением. Но, помимо всего этого, нас с поляками объединяла еще совместная борьба с украинцами и Драгомановым, стоявшим во главе их, о чем я уже рассказал выше.

Вслед за личными добрыми отношениям. и совместными нашими выступлениями на эмигрантских собраниях; вскоре возникла и некоторая организационная между нами связь.

В описываемое мною теперь время, т.-е. летом 1880 г., наша чернопередельческая организация была почти совершенно разгромлена,—лишь кое-где в России сохранились еще незначительные группки, не имевшие никаких связей в народе, да в Швейцарии мы изредка издавали номера «Черного Передела», с трудом попадавшие на родину в крайне ограниченном количестве экземпляров. В это же время организация «Народной Воли», как известно, наоборот, все более и более усиливалась и расширялась. Вполне естественно, поэтому, что большинство эмиграции стало тяготеть к народовольческому направлению. Почти единственное исключение составляла группа «Рувносць».

Осенью указанного года товарищи поляки предложили нам, находившимся тогда в Женеве чернопередельцам, с Г. В. Плехановым во главе, говоря дипломатическим языком, «заключить с ними оборонительно-наступательный союз». Хотя решительно никакого практического значения это предложение в то время не могло иметь ни для нас, ни для них, тем не менее, все мы, заграничные члены «Черного Передела», охотно его приняли. Уже само по себе желание группы «Рувносць» вступить в федеративную связь с нашей, тогда слабой, организацией, а не с неизмеримо более ее сильной народовольческой, не могло не обрадовать нас.

Результатом этого соглашения явилось обращение польских социалистов, напечатанное в их органе, озаглавленное: «К товарищам русским социалистам». В нем, между прочим, говорилось, что «на характер социально-революционной организации влияют исключительно общеэкономические интересы и политические условия», а также, что «организация социалистических партий может совершаться на основании условий экономических, с одной стороны, и фактически существующих государственно-политических—с другой; причем этнографические границы национальности никак не могут служить базисом для организации».

В своих известных очерках, озаглавленных «Историческая Польша и Великорусская демократия», печатавшихся в «Вольном Слове» (1881—1882 г.г.), Драгоманов подверг строгой критике это «Обращение» польских социалистов, так как он увидел в нем централистические стремления и игнорирование интересов маленьких национальностей, входящих в состав существующих государств.

Так как в каждом почти государстве,—писал он по этому поводу,—фактические условия сложили национальный централизм, то отрицательное отношение к иным основам организации, кроме

государственных, оказывается равносильным признанию премии в пользу государственно-национального централизма, т.-е. в России великорусского, в Пруссии—немецкого, в Галиции—польского. Уже из последнего видно, что польская национальность вышла не совсем обделенной из этих «переговоров»... «Таким образом,—закончил Драгоманов,—побитыми вышли только национальности плебейские и области, ими населенные, что мы наперед и предсказывали» [1]).

Столь серьезное значение придал глава украинского движения нашему соглашению, которое ни в то время, ни впоследствии не могло, конечно, иметь ни малейшего влияния на судьбы «плебейских национальностей». Весь практический результат этих наших переговоров ограничился,—кроме опубликования вышеприведенного «Обращения» польских социалистов,—несколькими нашими совместными выступлениями в печати и на эмигрантских собраниях да отчасти взаимным сотрудничеством в наших органах печати и взаимной помощью при доставке контрабандным путем через границу печатавшихся в Женеве изданий на польском и русском языках. Поэтому чрезвычайно курьезным казалось нам и польским товарищам вышеприведенное заявление Драгоманова, будто бы «польская национальность вышла не совсем «обделенной из переговоров» с нами. Можно было подумать, что поляки Бог весть что выиграли от соглашения, состоявшегося у них в Женеве с несколькими русскими эмигрантами.

Столь же незначительно по результатам, как и все вышеперечисленное мною, было наше, чернопередельцев, участие в устроенном группой «Рувносци» торжественном чествовании пятидесятилетия польской революции 1830 г. По этому поводу названная группа организовала в Женеве огромный митинг, в председатели которого, в виду международного его характера, она пригласила ветерана немецкого рабочего движения и друга Маркса и Энгельса, известного старика Иоанна Бекера, а также В. И. Засулич. Речи были произнесены на разных языках, причем Варынский, говоривший по-польски, резко подчеркнул свое и своих товарищей отрицательное отношение к националистическим движениям. Произнесла небольшую речь от имени нашей группы также и В. И. Засулич, выразившая симпатии к полякам. По этому поводу Драгоманов в названных выше очерках также нашел возможным упрекнуть, как В. И. Засулич, так и польских социалистов, в «игнорировании вопроса о границах Польши», как будто на таком митинге было уместно возбуждать этот спорный вопрос.

---

[1]) См. «Собр. политич. соч. М. П. Драгоманова», т. I, стр. 231—232 (курсив мой. *Л. Д.*).

Не менее, если не более еще резко, чем Драгоманов, нападали на польских социалистов за их взгляды, но с иной точки зрения, проживавшие в Женеве старые польские эмигранты, участники восстания 1863 г. Наиболее выдающимися между этими демократами, но не социалистами, были известный беллетрист Сигизмунд Мильковский, писавший под псевдонимом Ежа, затем историк и социолог Болеслав Лимановский и, наконец, знаменитый генерал Парижской Коммуны Врублевский.

За исключением последнего, к которому группа «Рувносци» относилась с большой симпатией, в виду выдающихся его личных качеств,—его геройства и готовности на самопожертвование,—наши польские товарищи были подчас беспощадны к остальным своим компатриотам,—к националистам, мечтавшим о восстановлении «исторической Польши—от моря до моря». Некоторые из наших приятелей, в особенности Варынский, даже по нашим понятиям—людей, нисколько тогда не расположенных к каким бы то ни было националистам,—хватали нередко через край, излишне резко подчеркивая свое враждебное отношение к польским патриотам.

Из всей довольно значительной для того времени группы «Рувносци» один лишь Кобылянский (он же Кутурницкий), также оправданный по краковскому процессу, вскоре по приезде в Женеву, стал склоняться на сторону националистов и затем, вполне разошедшись со своими товарищами, соединился с Лимановским. Этим положено было п е р в о е о с н о в а н и е п о л ь с к о й н а ц и о н а л ь н о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й п а р т и и, в п о с л е д с т в и и п р е в р а т и в ш е й с я, к а к и з в е с т н о, в с у щ е с т в у ю щ у ю и п о н ы н е «P. P. S.» (п о л ь с к у ю с о ц и а л и с т. п а р т и ю).

Нужно признать, что как Кобылянский, так и Лимановский не являлись сколько-нибудь выдающимися людьми. Скорее даже наоборот: оба они были самыми посредственными деятелями. Правда, Лимановский обладал довольно большими знаниями, которыми иногда делился с эмигрантами, выступая, в качестве лектора, на общерусских наших собраниях. Но если судить о нем по этим его выступлениям, то надо признать, что он лишен был всякого не только ораторского дарования, но и элементарных лекторских способностей.

Кобылянский производил впечатление крайне упрямого, недалекого и мало развитого человека. Бывшие же его товарищи по процессу в своих определениях как его характера, так и умственных его способностей выражались значительно более резко, и, кажется, у них в этих случаях говорила не одна лишь злоба на него за его переход во враждебный им лагерь. Они даже утверждали, что чрезвычайно довольны этим его шагом, и это вполне похоже было на правду.

* * *

Месяц уходил за месяцем, а Варынский все не мог вырваться из эмиграции. Это неимоверно угнетало его и повергало в сильнейшую хандру.

Между тем, в России в то время происходили крупнейшие события: совершались так-называемые «террористические акты», был убит 1-го марта 1881 г. Александр II, организация «Народная Воля», с «Исполнительным Комитетом» во главе получила репутацию непобедимого тайного общества, и многим казалось, что вскоре так или иначе объявлена будет конституция. В это же время в Царстве Польском,—после произведенных там арестов и высылок значительного контингента наиболее активных и развитых рабочих и интеллигентных лиц,—начавшееся было в конце семидесятых годов социалистическое движение почти совсем замерло и, казалось, уже не в состоянии вновь воспрянуть и развиваться далее. Ни откуда не видно было просвета: лучшие деятели находились в Сибири или в эмиграции, а те немногие, которым удалось избегнуть ареста, пали духом или, совсем разочаровавшись в социалистической деятельности, стали склоняться к устаревшему патриотизму, узкому национализму.

Все такого рода известия, приходившие из Польши, не могли не действовать самым угнетающим образом на впечатлительного, душой и телом преданного социалистическому движению Варынского. Он чувствовал в себе силы и способности поднять дух лиц, впавших в уныние, внести живую струю и вновь заставить многих энергично работать. За истекшие три года, проведенные вне Варшавы, Варынский, несомненно, приобрел большую опытность; он значительно развился и стал увереннее в себе. У него усилилось самомнение, о чем он иногда невольно проговаривался.

Всегда чрезвычайно скромный, сдержанный, не любивший говорить о себе и о своих достоинствах, Варынский однажды в нашей тесной компании, устроившей по какому-то поводу небольшую выпивку, хватил чего-то через край и совершенно преобразился: он стал чрезвычайно оживлен, разговорчив, откровенен; то приходил в экстаз, изображая, как «шаблюкою» будет поражать «врагов народа», то впадал в грусть и уныние, выражая негодование на судьбу, заставляющую его томиться в изгнании, когда в Польше его ждут великие дела, которые заставят потомство говорить о нем. Ясно было, что он высказывает свои задушевные мысли, и, помню, нам тогда казалось, что Варынский несколько преувеличивает свое значение для Царства Польского. Между тем, вскоре он показал, что внутреннее чувство нисколько его не обманывало.

С наступлением лета 1881 г. единственной уже помехой его возвращению в Россию являлась большая, сравнительно, его задолженность и необходимость обеспечить свою жену и ребенка на первое время. На получение необходимых для этого средств от состоятельных польских товарищей у Варынского не было желания или надежды. Кажется, в это время их отношения с фирмой «Мендельсон и К°» не были особенно хороши,—у них происходили какие-то разногласия, теперь не помню из-за чего, но, повидимому, довольно значительные, так как ими решено было даже переформировать редакцию, вместо «Рувносци» стал выходить «Пршедсвит» («Рассвет»).

Варынский не хотел воспользоваться средствами своих польских товарищей. В виду установившихся между нами личных отношений, а также в силу состоявшегося у нас соглашения, о котором я выше сообщил, он охотно согласился взять у нас необходимую ему на поездку сумму. Однако, пока мы смогли получить от наших товарищей из России эти деньги, прошло еще некоторое время.

Осенью 1881 года Варынскому вновь представился случай обнаружить присущие ему ораторские способности,—на этот раз перед западно-европейскими, главным образом, перед немецкими социал-демократами. Как известно, в виду действия в Германии незадолго перед тем введенного там закона против социалистов, собрался в Хуре (в Швейцарии) конгресс социал-демократов, на который были ими приглашены, в качестве «гостей», представители разных единомышленных и сочувствовавших им организаций. От нас присутствовал там П. Б. Аксельрод, польские социалисты избрали Варынского. Его блестящая речь имела огромный успех. Но, насколько могу припомнить, часть польских его товарищей, главным образом, кажется, Мендельсон, осталась недовольна некоторыми его выражениями.

Только в декабре 1881 г. Варынский смог, наконец, получить от нас деньги, после чего он немедленно собрался в дорогу. Не берусь передать при этом его оживления и радости: он повеселел, воспрянул духом.

* * *

Возбуждение, начавшееся в России при восшествии на престол Александра III, отчасти передалось и в нашу эмигрантскую среду. По крайней мере, те из нас, которые еще не потеряли связей с родиной и надеялись вскоре вернуться туда, закопошились, заволновались. Некоторые еще летом того года собрались и уехали обратно в Россию, в их числе был Я. Стефанович; другие также рассчитывали это вскоре сделать. Завязалась более частая и интенсивная

переписка и сношения между нами и находившимися в России деятелями: шли переговоры о соединении, возникли кое-какие совместные предприятия — заграничный отдел Красного Креста, типография для печатания получавшихся от организации «Народной Воли» биографий некоторых из погибших ее членов и пр.

В это же время среди польских социалистов не только не заметно было ни малейшего оживления, но, наоборот, с отъездом Варынского, наступило значительно большее еще, чем прежде, затишье. Часть видных членов—Мендельсон, Яблоновская и Длуский—совсем покинула Женеву, и в ней, кроме лиц, работавших в типографии, остались только Пекарский, также оправданный по краковскому процессу и участвовавший в редакции «Пршедсвита», да Дикштейн.

На наших обще-русских эмигрантских собраниях уже не раздавался сильный и убежденный голос Варынского; не слышны были также солидные речи Мендельсона и Длуского; наоборот, стал чаще появляться Лимановский, монотонно тянувший свои скучные рефераты. Сильно чувствовалось отсутствие молодой, образованной и энергичной польской социалистической эмиграции.

Но зато в это же время в другом конце Европы,—в Царстве Польском,—началось большое оживление: по общему и единодушному признанию, оно целиком внесено было туда Людвигом Варынским; он вполне оправдал сделанные им навеселе заявления, показавшиеся нам преувеличенными, о чем сообщено выше.

Я, конечно, не могу теперь, шаг за шагом, проследить за деятельностью Варынского с момента его возвращения в Варшаву. Скажу лишь, что ему, действительно, вскоре удалось собрать воедино разрозненных и приунывших рабочих, а также привлечь новых лиц и создать значительную организацию, названную им «Рабочим Комитетом». Этот комитет явился основанием первой польской социалистической партии, названной Варынским «Пролетариатом».

Во всей этой деятельности Варынский проявил огромную трудоспособность, энергию и настойчивость. Число его сторонников чрезвычайно быстро росло, так что к концу 1882 года по его инициативе смог уже собраться съезд в Вильно, где и положено было основание партии «Пролетариат».

На этом съезде к «Рабочему Комитету» примкнул вскоре затем приобревший большую известность Станислав Куницкий со своим петербургским кружком. Наряду с Варынским, это был наиболее выдающийся по способностям и энергии польский социалист-практик того периода.

Убедив Куницкого и некоторых членов его кружка переехать из Петербурга в Варшаву, Варынский отправился затем за границу

для устройства разных дел, главным же образом для установления сношений с эмиграциею и для вступления в более тесную связь с находившимися в то время там представителями партии «Народная Воля».

Невозможно было узнать этого человека, до того он изменился за сравнительно короткое время. Он был чрезвычайно оживлен, бодр, разговорчив, а главное, полон самых радужных надежд. Действительно, деятельность Варынского в Царстве Польском была очень успешна, в чем отчасти и мы имели случай убедиться.

Однажды я и В. И. Засулич получили от Варынского приглашение придти к нему в указанный им вечер, так как он желал нас познакомить с приехавшим с ним вместе за границу очень интересным человеком.

Придя в назначенное время, мы застали у него довольно пожилого уже господина, оказавшегося мировым судьей, служившим по назначению в Варшаве, по фамилии Добровольский. Из разговора с ним выяснилось, что этот русский чиновник, отправленный в Царство Польское с обрусительными целями, под влиянием Варынского, стал «сочувствующим» и помогал ему и его товарищам в социалистических их предприятиях. На нас с В. И. Засулич этот «обруситель» произвел довольно благоприятное впечатление: он был умен, наблюдателен, серьезен и вовсе, повидимому, не склонен был к каким-либо увлечениям или утопиям. Тем не менее, насколько могу теперь припомнить, несмотря на то, что Добровольский был значительно старше Варынского, он относился к последнему с глубоким уважением и подтверждал его сообщения об успехах социалистического движения в Царстве Польском. Один уже этот факт привлечения на сторону поляков русского, по рождению, чиновника мог служить достаточно наглядным доказательством способности Варынского влиять на людей даже из враждебного лагеря и значительно более его пожилых. К слову: известно, что несколько лет спустя, по процессу созданного Варынским общества «Пролетариат», кроме этого мирового судьи, судился еще другой—Бардовский, которого постигла печальная участь.

* * *

В описываемое мною время террористические приемы борьбы были, как известно, очень популярны среди действовавших в России, а также отчасти и среди находившихся в эмиграции революционеров. Неудивительно поэтому, что живой, пылкий Варынский поддался общему увлечению и также склонился к применению польскими социалистами этих приемов, как по отношению разных

правительственных лиц, так и против наиболее жестоко обращавшихся с рабочими представителей эксплоатирующих классов.

С этими воззрениями относительно «политического и экономического террора» Варынский поехал в 1882 году в Париж для переговоров с находившейся там известной представительницей «Народной Воли»—М. Н. Ошаниной. Чрезвычайно обрадовавшись предложению Варынского, Ошанина, в качестве ярой централистки, уже готова была увидеть в этом преклонение поляков перед «могущественным Исполнительным Комитетом», одним из наиболее видных членов которого она являлась, но Варынский имел, конечно, в виду не преклонение и подчинение партии «Пролетариата» «великой русской организации», на что рассчитывала якобинка Ошанина, а лишь взаимные услуги и помощь, при полной независимости обеих партий. Поэтому, насколько помню, Варынский не пришел с Ошаниной ни к какому определенному соглашению и уехал ни с чем, но намерения вступить в федеративную связь с партией «Народная Воля» он не оставил.

По возвращении в Россию, он в 1883 году отправился в Петербург, предполагая, что там он скорее добьется результата. Но в это время народовольческая организация с «Исполнительным Комитетом» была уже совершенно разгромлена. Вместо нее орудовал Дегаев в союзе с Судейкиным, о чем никто не подозревал. С этим-то предателем, выдававшим себя за члена «Исполнительного Комитета», Варынский и повел переговоры, единственным результатом которых было то, что за ним установлена была слежка до самой Варшавы.

Популярность «Пролетариата», между тем, росла со дня на день. Немалую роль в этом отношении сыграли многочисленные прокламации, выпускавшиеся Варынским и его товарищами по разным поводам. Из них наибольший успех имело написанное Варынским обращение к варшавским рабочим и работницам с советом не допускать осуществления обер-полицеймейстерского распоряжения о производстве санитарного осмотра фабричных работниц. Последовав призыву «Пролетариата», трудящиеся женщины оказали до того внушительный протест, что обер-полицеймейстер вынужден был отменить свое распоряжение. Это было огромной победой и наглядным доказательством большого влияния «Пролетариата» на рабочих.

В сентябре того же года начал выходить подпольный орган под тем же заглавием. Но Варынскому удалось проредактировать только два первые номера «Пролетариата».

Заметив следовавших за ним по пятам шпионов, он скрылся было на время из Варшавы. Но нигде не чувствовал он себя так вольготно, как в Варшаве, где осуществлялись все его надежды и

планы. Поэтому, после короткого отсутствия, Варынский вновь вернулся в Варшаву, где его многие прекрасно знали и где нетрудно было его выследить, благодаря высокому его росту и вообще бросавшимся в глаза приметам его. Когда однажды вечером в конце сентября (1883 года) у него происходило с кем-то из товарищей деловое свидание в одном ресторане, туда явился околоточный, хотевший арестовать его. Но Варынский, отличавшийся довольно большой физической силой, толкнул его так, что тот упал, а сам бросился бежать. Однако, сбежавшимся на свистки околоточного полицейским вскоре удалось его задержать.

Главным оратором на суде выступил Варынский, произнесший блестящую речь, в которой, между прочим, принял на себя ответственность за все насильственные акты, совершенные уже после его ареста.

Известно, что по делу «Пролетариата» четыре человека, в том числе упомянутый мною выше русский мировой судья Бардовский и Куницкий, были казнены, а двадцать подсудимых приговорены были к каторжным работам; из них Варынский, осужденный на 16 лет, заключен был в Шлиссельбургской крепости, где, несмотря на железное его здоровье, он, несколько месяцев спустя, заболев чахоткой, скончался (в феврале 1889 года)...

VI.

П. Л. ЛАВРОВ.

Непосредственное мое знакомство с Лавровым состоялось в январе 1880 года, когда, после полугодового пребывания в России, мы четверо: В. Засулич, Г. Плеханов, Стефанович и я вторично приехали за границу. Оставив товарищей в Швейцарии, я, несколько дней спустя, отправился в Париж с намерением пожить там некоторое время.

Стояла необычайно суровая зима: Сена замерзла, что случается раза два в столетие. Непривыкшие к таким холодам парижане умирали массами на улицах и в домах, совершенно неприспособленных к морозам.

Поселившись в Латинском квартале, я, в первый же день по приезде, отправился перед вечером, вместе с известным князем Черкезовым, другом Кропоткина, обедать в дешевый ресторан: «Дуз Мармит» (двенадцать горшков), в котором столовались многие русские изгнанники. Не доходя немного до него, я увидел на противоположной стороне улицы высокого, хорошо сложенного старика, лет 60-ти на вид, в довольно поношенном и не очень теплом пальто.

— Это Петр Лаврович,—сказал Черкезов.—Он тоже обедает в этом ресторанчике и ест всего одно блюдо.

— Как он легко одет в такой холод!—невольно вырвалось у меня.

— О, он очень вынослив,—ответил Черкезов.—Петр Лаврович ведет очень скромный и регулярный образ жизни, но помогает каждому обращающемуся к нему с чем бы то ни было.

— Разве он располагает материальными средствами? — удивился я.

— Нисколько!—воскликнул мой собеседник.—Он живет исключительно литературным трудом, и заработки его очень ограничены. Но Петр Лаврович обрезывает себя во всем, кроме книг; к тому же он всегда умеет доставать средства для нуждающегося в материальной поддержке у зажиточных своих знакомых.

Теплый отзыв о Лаврове анархиста Черкезова возбудил во мне желание ускорить знакомство с Петром Лавровичем. На следующий же день я вместе с Черкезовым отправился на улицу Сен-Жак № 328, где во дворе в течение двадцати пяти лет Лавров занимал небольшую квартирку в две комнатки с кухней.

Я застал у него какого-то русского. Живя за границей, я, в виду моего революционного прошлого, не был гарантирован от ареста и выдачи нашему правительству; поэтому, из предосторожности, я прописывался на квартирах и рекомендовал себя незнакомым лицам не под своей настоящей фамилией. То же сделал я и в описываемом случае. Назвав себя первой подвернувшейся фамилией, я заявил, что только что эмигрировал из Петербурга.

Лавров очень приветливо обошелся со мною и стал расспрашивать о том, что делается в революционной среде.

Это было вскоре после происшедшего в Петербурге разделения общества «Земля и Воля» на две организации—на «Народную Волю» и «Черный Передел», о чем в общих чертах Петр Лаврович уже знал. Но, не зная, что собою представляет его гость, я старался отделаться общеизвестными фактами и сообщениями, а затем, просидев короткое время, удалился. Прощаясь с Лавровым в передней, я попросил его назначить мне свободный вечер, когда я мог бы потолковать с ним, не рискуя встретить никакого другого посетителя. Он указал мне один из ближайших вечеров.

— А ведь я уже знаю, кто вы,—заявил Петр Лаврович, поздоровавшись, когда я пришел к нему в условленное время.

— Каким образом?—удивился я.

— Да мой гость, которого вы у меня тогда застали, Пащенко, мне сказал вашу настоящую фамилию: он встречал вас в Швейцарии. Вот видите, как трудно сохранить за границей «инкогнито».

Эта неудачная моя конспирация как-то сразу расположила нас обоих на непринужденный тон. К тому же, как вскоре оказалось, Петр Лаврович многое уже знал обо мне от общих наших знакомых. Поэтому, несмотря на то, что он был более чем вдвое старше меня, мы заговорили, как давние хорошие знакомые.

— Я очень, очень рад, что вы уехали из России,—сказал он.— Там теперь ужасное время. Вы мне сегодня все подробно расскажете, что там творится; но прежде я приготовлю чай.

И Петр Лаврович методично принялся за дело. Поставив на камине спиртовую лампочку и водрузив на ней жестяную кастрюльку, он налил в нее воду и зажег фитиль; после этого он достал чайные принадлежности. Вследствие чрезвычайной своей близорукости он напряженно всматривался в нужные ему вещи и отыскивал их ощупью.

Странно было смотреть на все эти манипуляции крупных размеров старика в маленькой комнатке, сплошь заставленной мебелью и полками с книгами вдоль всех стен.

Желая облегчить ему хлопоты с приготовлением чая, я попытался принять участие, но Петр Лаврович энергично воспротивился этому.

— Нет, уж вы сидите, не помогайте,—заявил он.—Вы мне только все спутаете, и потом я ничего не найду на своем месте. Знаете, у стариков вырабатываются свои привычки: всякая вещь должна находиться на определенном месте. А то, случалось, вздумает помочь мне по хозяйству какой-нибудь посетитель, вот как вы, и только все перепутает.

Я не стал спорить, но, когда вода закипела, он великодушно разрешил мне исполнять роль хозяйки дома—разливать чай.

По его предложению, я подробно рассказывал ему о причинах, приведших к расколу в обществе «Земля и Воля», и о создавшемся после этого положении в революционной среде.

Петр Лаврович чрезвычайно внимательно следил за моим рассказом, лишь изредка прерывая его тем или иным вопросом. Помню, что меня тогда удивило проявленное им близкое знакомство как со многими обстоятельствами, касавшимися революционного мира, так и с некоторыми лицами, упомянутыми мною, которых он знал или лично по Цюриху, или по наслышке. Такая осведомленность со стороны почтенного ученого мне тем более была приятна, что я подобной не встречал среди менее старых, чем Лавров, эмигрантов.

Когда я окончил свой рассказ и ответил на все его вопросы, Петр Лаврович вновь повторил:

— Вы и ваши товарищи хорошо сделали, что уехали из России: увлечение террором это—временное настроение, и его можно было давно предвидеть. Но это скоро пройдет, и вновь придется вернуться к единственному верному способу—к пропаганде: я, по-прежнему, не перестаю в нее верить. Но я не «лаврист»; я давно не имею ничего общего с лицами, носящими эту кличку: своим поведением они скомпрометировали себя и меня.

Мне хотелось расспросить его, почему он разошелся со своими последователями, но я заметил, что ему тяжело говорить об этом: голос его как-то изменился, и, несмотря на очевидно присущие ему уравновешенность и хладнокровие, он все же отозвался неодобрительно, хотя и крайне сдержанно, о бывших своих приверженцах—«лавристах».

Помню, под конец вечера мне тяжело было смотреть на этого безусловно симпатичного, хорошего старика, столь беззаветно и искренно преданного отдаленной своей родине и, вообще, обездолен-

ным массам. Он, несомненно, ни пред какими личными интересами не остановился бы ради облегчения тяжелой участи трудящихся классов. Между тем, обстоятельства в то время сложились так, что Петр Лаврович стоял вдали от дел и был, в сущности, выброшен за борт. Фактически он в течение уже нескольких лет (с 1876 г.) был совершенно устранен от всякого участия в происходившей на дорогой ему родине освободительной борьбе. Для него, неутомимого, энергичного общественного деятеля, положение, в котором он очутился в конце 70-х и в начале 80-х годов, не могло не быть невыносимо тяжелым.

Но, в отличие от «лавристов», сам Лавров не переставал чувствовать себя тесно связанным с происходившим в России революционным движением, хотя и принявшим несимпатичную ему форму. Тогда Петр Лаврович склонился на нашу сторону, «чернопередельцев», и охотно выразил готовность сотрудничать в нашем органе, что вскоре и осуществилось.

Всего, о чем мы переговорили в этот вечер, я, конечно, теперь, по прошествии 40 лет, не в состоянии воспроизвести. Но хорошо помню, что, уходя от Лаврова в двенадцатом часу ночи, я вынес о нем наилучшее впечатление.

При прощании мы условились, что раз в неделю,—кажется, по вторникам,—я буду приходить к нему и никого другого он в тот вечер не будет принимать.

По через пару дней телеграф принес известие, что в Зимнем дворце кем-то произведен взрыв. Еще до отъезда из России мне было известно, что готовится это новое покушение на царя: рабочий Халтурин, задумавший совершить его, получив возможность попасть во дворец в качестве столяра, имел непосредственные сношения с одним только, тогда чернопередельцем, Г. В. Плехановым, которого просил свести его с террористами. Когда все усилия Плеханова отклонить Халтурина от осуществления его намерения оказались безуспешными, он познакомил его, кажется, с Александром Михайловым. Меня, поэтому, не удивило известие о взрыве. Совсем иные чувства и соображения вызвало оно в Петре Лавровиче.

Когда я пришел к нему в тот день, то застал его в очень возбужденном состоянии. У Лаврова в это время был кто-то, — не помню, кто именно,—которому он высказал уверенность, что покушение несомненно доказывает существование среди приближенных царя заговора против его жизни.

Не считая себя вправе, в виду конспиративных соображений, посвящать Лаврова и его гостя в действительные обстоятельства, так как телеграф ничего еще в то время не сообщил о роли находившегося во дворце рабочего-столяра,—я все же попытался раз-

убедить Петра Лавровича, высказав предположение, что скорее всего это покушение окажется делом террористов, без малейшего участия в нем придворных заговорщиков. Но Лавров самым энергичным образом запротестовал против моего предположения.

— Не может быть, чтобы дело это обошлось без связей с придворными кругами! — воскликнул он. — Иначе, как могли бы террористы проникнуть во дворец?

Когда я продолжал стоять на своем, он, помню, заметил:

— Это вы, как противник, стараетесь умалить значение данного факта.

Мне оставалось только замолчать. Даже когда телеграф сообщил, что покушение это произведено было проникшим во дворец рабочим, Петр Лаврович все же думал, что это тому удалось только благодаря связям, имевшимся у народовольцев с высокопоставленными «придворными особами».

Если столь преувеличенное представление о связях террористов было у Лаврова, имевшего возможность, через меня и Гартмана, незадолго перед тем прибывших из России, получить верное представление о силах и значении новой политической партии, то не трудно себе представить, как разыгралось воображение насчет могущества неуловимого «Исполнительного Комитета» у лиц, совсем далеко стоявших от революционной среды. Там уже прямо создавались вполне легендарные рассказы о террористах и их страшных деяниях. Особенно усердствовали западно-европейские органы печати. Раньше помещавшие лишь телеграфные сообщения о царских приемах и выездах, иностранные газеты, почти впервые после оправдания Веры Засулич, заинтересовались нашим революционным подпольем. Они не только от себя комментировали, как Бог им на душу положит, телеграфные сообщения, но, за отсутствием последних, сами создавали всевозможные известия о разных будто бы имевших в России место происшествиях. Наиболее в этом отношении отличались парижские газеты. Нередко случалось, что даже мы, недавно лишь прибывшие из России, не верили газетным сообщениям, когда они передавали о действительном происшествии, и, наоборот, готовы были принять за факт то, что являлось плодом фантазии какого-нибудь сотрудника.

Как бы то ни было, но на огромное большинство давно обретавшихся за границей русских изгнанников совершавшиеся в России происшествия производили сильнейшее впечатление, и даже наиболее солидные, спокойные, хорошо знавшие Россию лица поддавались общему влиянию. К их числу принадлежал, летом 1880 г., и Лавров. Да и могло ли быть иначе, если само правительство тогда металось из стороны в сторону, тщетно пытаясь побороть «кра-

молу», — эту, как ему казалось, стоглавую гидру. Наконец, после взрыва во дворце, утверждена была Верховная Комиссия с гр. Лорис-Меликовым во главе, мягкий режим которого назван был «диктатурой сердца».

— Если правительство решилось заменить систему репрессий заигрыванием с обществом, то ясно, что оно к этому вынуждено террористами,—рассуждали многие.—А уж оно ли, обладающее всеведущим и всемогущим Третьим отделением, не имеет возможности узнать про истинные силы подпольного врага.

Но возвратимся к Лаврову.

Во время моих посещений, по вторникам, сопровождавшихся такими же, как и первое, чаепитиями, главным рассказчиком являлся, большею частью, Петр Лаврович. Я старался, как говорится, выудить из него возможно больше сообщений о нем самом, о его многочисленных встречах с разными выдающимися людьми, о его жизни в Петербурге в 60-х годах, о ссылке и побеге оттуда, о разных заграничных перипетиях и т. д. Я многое узнал от него о Чернышевском, Щедрине, Тургеневе, Бакунине и других замечательных людях, с которыми Лавров лично был знаком. Повидимому, он охотно рассказывал о прошлом и говорил просто, искренно, но не пускался в особенно большие подробности. Помню, на меня Петр Лаврович произвел впечатление не рассказчика по природе. Он ни о ком не отзывался сколько-нибудь резко. Даже о заведомо враждебных ему людях он говорил в чрезвычайно сдержанном тоне, и лишь по чуть-чуть изменявшейся интонации его голоса можно, бывало, заключить, что данный человек ему несимпатичен. По всему видно было, что Петр Лаврович в высшей степени гуманный, деликатный и европейски воспитанный человек.

* * *

С нетерпением ждал я наступления каждого следующего вторника. Мне чрезвычайно приятно да и поучительно было провести вечер с многое знавшим и немало на своем веку видевшим стариком, в его уютном кабинете, освещавшемся лампой с абажуром. С каждым таким вечером Петр Лаврович становился со мною все более откровенным. Мне хотелось узнать, как чувствует себя этот хороший, но совершенно одинокий старик, у которого, судя по его же словам, не было тогда за границей ни одного сколько-нибудь близкого человека. Не помню, в которое мое посещение, я решился спросить его об этом. Как бы обрадовавшись моему вопросу, Петр Лаврович воскликнул:

— Тяжело, тоскливо, неприятно чувствую себя! Временами особенно невыносимо мне жить так, как теперь приходится. Нередко

в такие минуты мне вспоминается такая же, как моя, одинокая и полная лишений старость Огарева. Не раз уже представлял я себе, что вот ночью расхвораюсь и даже не смогу открыть дверь консьержке, когда она придет утром с почтой.

В этот вечер он также, помню, много рассказывал мне о Герм. Алекс. Лопатине, о котором, конечно, отзывался самым лестным образом. Петр Лаврович считал Лопатина лучшим, если не единственным, своим другом, которому он очень многим был обязан. Из сообщения его видно было, что Лопатин брал на себя всякие, даже мелкие, хозяйственные заботы о Петре Лавровиче, о его пище, платье и т. п.

— А вот теперь, с его арестом, я один, совершенно один: бывает, что по несколько дней никто не заглянет, кроме консьержки.

В тот вечер, помню, я ушел от Петра Лавровича в очень грустном настроении.

Недолго продолжались наши вторники: совершенно неожиданное обстоятельство заставило нас прекратить их, но оно же еще более нас сблизило, так как связало общим интересом.

* * *

Немного раньше меня приехал в Париж Лев Гартман, участвовавший, как известно, в устройстве подкопа под полотно Московско-Курской жел. дороги, а затем взрыва поезда 19 ноября 1879 г. Ему, как лицу, игравшему роль хозяина дома, из которого проведен был подкоп, еще значительно опаснее, чем мне, было проживать за границей под своей настоящей фамилией. Но, конечно, среди эмигрантов очень скоро все узнали, что, положим, «Карлов» и есть главный участник московского взрыва.

Я был с Гартманом знаком еще в России. Совершенно посредственный человек, он являлся одним из тех, которых разочаровала деятельность в народе, потому что другие в ней разочаровались, и которых увлек террор по аналогичной же причине; короче — он следовал за большинством. Образованием, начитанностью он также не обладал и, вообще, не представлял собою решительно ничего оригинального или достопримечательного, только случайность сделала его очень важным политическим преступником, приобревшим всемирную известность. В нашей среде он слыл за простого, исполнительного человека, обладавшего некоторыми техническими способностями, и доброго товарища, о котором говорят: «рубаха парень, но звезд с неба не хватает».

Гартман не состоял членом общества «Земля и Воля», а входил в одну из филиальных ее групп,— кажется, в саратовскую. Когда начались споры между «деревенщиками» и сторонниками террора о

наилучшем способе борьбы, Гартман принадлежал к «хранителям старины», т.-е. к «деревенщикам». Когда же по всему видно стало, что народничество теряет популярность среди молодежи, он присоединился к новой фракции, да и то, по его словам, на время только, чтобы помочь товарищам своими техническими знаниями.

В последний раз мы виделись с ним в Петербурге вскоре после ноябрьского взрыва, когда он, собираясь эмигрировать, захотел получить от меня, незадолго пред тем приехавшего из-за границы, некоторые сведения о жизни там и о переезде через границу контрабандным способом.

Узнав о моем приезде в Париж, Гартман поспешил свидеться со мною. Оказалось, что его сведения по электричеству помогли ему устроиться и на чужбине. В Париже он встретился со своим старым знакомым, эмигрантом, бывш. студентом Преферанским, который, сообща с каким-то русским, фамилию которого теперь не помню,—назовем его Петровым,—устроил маленькую мастерскую для приготовления электрических лампочек, каковые они сбывали известному тогда изобретателю Яблочкину. Гартман присоединился к этой компании.

Наше с ним знакомство на родине и одинаковые условия жизни в Париже на «нелегальном положении» сблизили нас друг с другом, и мы стали часто встречаться. К тому же нам обоим Париж был совершенно неизвестен; мы, поэтому, предпринимали совместные прогулки для ознакомления с достопримечательностями столицы Франции.

Однажды, встретившись с Гартманом в их общей мастерской, мы условились в ближайшее воскресенье предпринять совместную прогулку. Преферанский и его компаньон Петров вызвались также пойти с нами, тут же предложив нам маршрут.

Собравшись в условленное время, мы позавтракали в каком-то ресторане, а затем отправились в концертную залу, находившуюся вблизи Елисейских полей.

У входа, растянувшись в длинную шеренгу, стояла гуськом публика, желавшая войти в залу. Мы присоединились к ней, причем, помню, Преферанский и Петров стояли впереди меня, а Гартман—позади.

Медленно приближалась шеренга к кассе. Случайно обернувшись, я увидел, что Гартман вышел из хвоста и в сопровождении каких-то двух прилично одетых, но совершенно незнакомых нам лиц направляется куда-то в сторону.

— Куда вы!—закричал я.

Гартман обернулся, но находившиеся возле него люди схватили его под руки. Догадавшись, чтó это за люди, я бросился к ним,

закричав Преферанскому и Петрову: «его хотят арестовать!». Они немедленно также подбежали к Гартману, в которого с обеих сторон вцепились агенты. Мы стали освобождать его, но они до того крепко держали его, что наши усилия оставались тщетными.

Видя нашу борьбу, кругом собралась большая толпа. Я обратился к французам со словами, что это «шпионы, которые здесь, в Париже, хотят схватить политического эмигранта; помогите освободить его». Но они остались совершенно безучастными.

— Сбросьте с себя сюртук! — закричал я Гартману. Когда он последовал этому совету, нам удалось на момент, оторвать его от агентов, которых мы держали за руки.

— Скорее бегите!—сказал я.

Но лишь только он успел сделать несколько шагов, как один из агентов, оказавшихся очень ловкими и сильными парнями, вырвался из рук кого-то из нас и, бросившись к Гартману, вновь вцепился в него, словно клещами. Когда нам, после некоторых усилий, удалось его снова освободить от этого человека, другой, вырвавшись из рук державшего его, опять вцепился в Гартмана.

Возня эта продолжалась несколько минут, пока, наконец, появился полисмен. На его вопрос, в чем дело, я вновь повторил свое предположение о намерении русских агентов схватить политического эмигранта.

— Пойдемте-ка все в комиссариат — там разберут, — заявил полисмен.

Но мне это вполне естественное его требование, в виду моей собственной «нелегальности», не показалось заманчивым. Преферанский почему-то также нашел его для себя неудобным,—кажется, он вовсе не говорил по-французски. Но он предложил своему компаньону Петрову отправиться в полицейское бюро, чтобы объяснить там, в чем дело, так как Гартман, также не говоривший по-французски, не мог сделать этого.

Петров последовал за группой, уведшей Гартмана, а я с Преферанским, взяв извозчика и попросив его ехать как можно скорее, отправились к Лаврову.

— Это большая неприятность; она может очень худо окончиться!—сказал Петр Лаврович, выслушав наш рассказ.—У меня имеется знакомый полицейский, член общества позитивистов,—я немедленно к нему отправлюсь и узнаю, в чем дело.

Лавров назвал фамилию этого позитивиста-полицейского, но я ее теперь не помню.

Закрыв книгу, которую он читал пред нашим приходом, Петр Лаврович быстро собрался. Помню, при этом обнаружился такой курьез. Натянув на себя довольно таки поношенный черный сюртук

и повернувшись к нам спиной, он спросил, не видно ли, что штаны его сзади прорваны. Несмотря на далеко не веселое наше настроение, мы с Преферанским в этот момент не могли удержаться от смеха.

— А вы лучше, Петр Лаврович, перемените брюки,—предложил я.—А то может случиться, что фалды сюртука растопырятся.

— Вот в том-то и суть, что у меня других брюк нет,—признался он.

Бывший полковник, профессор и ученый с европейским именем имел лишь одни, да и то прорванные, брюки...

Мы с Преферанским принялись прилаживать фалды его сюртука так, чтобы они в критический момент не выдали крупных изъянов, имевшихся на штанах. Затем, осмотрев Петра Лавровича со всех сторон и успокоив его насчет его костюма, мы все вместе отправились на розыски нужного Лаврову человека.

* * *

Не буду передавать здесь всех перипетий предпринятой Лавровым агитации для освобождения Гартмана, так как об этом многие уже, с бóльшей или меньшей точностью, рассказывали в печати. Скажу лишь, что Петр Лаврович проявил в этом случае,—как, впрочем, и во всяком предприятии, за которое он брался,—громадную настойчивость и неутомимую энергию. Он видался со многими лицами, имевшими значение, и с всесильным тогда президентом палаты депутатов Гамбеттой. На несколько недель Петр Лаврович, кажется, совсем забросил свои научные занятия и нарушил обычный, давно им для себя установленный строгий режим, что едва ли в течение тридцатилетнего его пребывания в эмиграции много раз случалось у него.

Агитация в пользу освобождения Гартмана, как известно, приняла неимоверные размеры. По несколько раз в день газеты выпускали специальные приложения по поводу положения дела и состояния Гартмана. Имя его непрерывно выкрикивали разносчики, и на время он сделался самым популярным человеком не только в Париже, но и во всем цивилизованном мире.

Мы с Лавровым видались ежедневно, а то и по несколько раз в день, обсуждая все предпринимаемые нами шаги. В одно из таких моих посещений Петр Лаврович стал настойчиво уговаривать меня уехать в Лондон, так как в газетах появилось подробное описание ареста Гартмана и нашей попытки освободить его, причем сообщалось,—с описанием моих примет,—что один из русских обратился к публике с речью. Это вызвало у доброго Петра Лавровича опасение, как бы и меня не схватили. Уже со дня ареста Гартмана он неоднократно заговаривал о том, что мне необходимо уехать в Лон-

дон, но я решительно отклонял эту мысль. Предположив, вероятно, что я отказывалось из-за отсутствия у меня денег, он в указанное мое посещение заявил:

— Вот я достал для вас деньги, а это—письмо к Марксу и Энгельсу; видите, я все приготовил: уезжайте поскорее в Лондон, поживите там, а когда все здесь успокоится, вы сможете вернуться сюда.

Я готов был броситься на шею этому хорошему старику,—до того я был тронут его заботливостью и вниманием. Но от предложения покинуть Париж я все же отказался, потому что сам Лавров раньше того изображал мне жизнь в Лондоне в довольно непривлекательном свете. Кроме того, мне хотелось дождаться финала агитации по поводу освобождения Гартмана. Не будучи уверен в благополучном ее исходе, я с двумя лицами вел переговоры об устройстве побега Гартмана, если бы выдача его была решена французским правительством.

Мне также хотелось выяснить, каким образом агенты узнали и проследили Гартмана до концертной залы. Соображая все обстоятельства, я остановился на предположении, что они заранее знали о приходе его к этому зданию. Кто же из нас троих мог им это сообщить? Некто иной, как знакомый Преферанского, которого я назвал Петровым. Только при этом условии могло случиться, что мы четверо не в состоянии были отбить Гартмана от двух, хотя и здоровых, агентов. Если Петров был заодно с агентами, то, путаясь между нами, он помогал им, так как выпускал то одного, то другого из них, когда мы предполагали, что он вместе с нами удерживает их.

Преферанский сперва энергично отрицал правильность моего подозрения насчет его хорошего знакомого и компаньона; но когда Петров, до которого, вероятно, дошел слух об этих подозрениях, исчез неизвестно куда, то и он вынужден был согласиться.

Как известно, Гартман не был выдан, несмотря на энергичные хлопоты нашего правительства: в сопровождении одного агента он был отправлен в Лондон. Прожив там года два и близко познакомившись с Марксом и Энгельсом, Гартман переселился в С.-Амер. Соед. Штаты, где временами бедствовал. Умер он лет двенадцать-тринадцать тому назад, в 1906 или 1907 году, где-то на юге Соед. Штатов, вдали от всех русских.

Лавров и еще несколько русских эмигрантов за хлопоты об освобождении Гартмана поплатились изгнанием из Франции, что для Петра Лавровича, сросшегося со своей обширной библиотекой и Парижем, было большим лишением. Но недолго пришлось ему прожить в Лондоне: частным образом ему сообщено было, что он может вернуться в Париж.

Мои сношения с Лавровым не ограничились вышеописанным. В течение последовавших затем нескольких лет, проведенных мною за границей, я вел с ним частую переписку, а также неоднократно имел и личные свидания. Наиболее любопытными из последних были: по поводу переговоров так-называемого «Исполнительного Комитета» с так-называемой «Добровольной дружиной», или «охраной», а также об образовании «Заграничного отдела Красного Креста «Народной Воли» и журнала «Вестник Народной Воли». Но об этом расскажу в другом месте.

Во всех этих и в некоторых других затеянных после убийства Александра II предприятиях Петр Лаврович принял самое активное участие. Таким образом с начала восьмидесятых годов он, после долгого отстранения от революционной деятельности, вновь был к ней привлечен, почему уже не чувствовал себя оторванным, одиноким. Как известно, он довольно близко сошелся тогда с поселившимися в Париже эмигрировавшими за границу видными членами «Исполнительного Комитета Народной Воли»—с Львом Тихомировым и Марьей Николаевной Ошаниной, которая имела до того большое на него влияние, что из мирного пропагандиста Петр Лаврович на старости лет, после ренегатства Тихомирова, стал «старым народовольцем».

Опасения его относительно смерти в одиночестве, о чем я сообщил выше, как известно, не оправдались: умер Лавров (6 янв. 1900 г.) окруженный заботами многочисленных поклонников, друзей и близких, в том числе приехавшей к нему из России замужней дочери Негрескул.

На похороны собралась огромная масса делегаций, представителей всевозможных социалистических и рабочих организаций. Погребен Лавров на кладбище Мон-Парнас, где ему воздвигнут памятник и куда ежегодно в день его погребения собираются многие русские, живущие в Париже.

VII.

М. А. БАКУНИНА.

Михаила Александровича Бакунина я уже не застал в живых: он умер за два года до моего приезда, летом 1876 г., в Берне, но решительно все русские эмигранты, а также и иностранцы, с которыми мне приходилось встречаться за границей, относились к нему с благоговением и чрезвычайно много о нем рассказывали. В этих случаях в глазах «стариков» заметна была столь беспредельная преданность, какой мне до тех пор не приходилось наблюдать по отношению к кому-либо из вожаков и учителей молодежи.

В свое время мы, молодежь 70-х годов, высоко ценили и любили Чернышевского, Добролюбова, Писарева, в особенности первого, с которым Александр II поступил так жестоко. К чувствам признательности и глубокого уважения к этим умственным нашим руководителям у нас невольно примешивалась скорбь, а то и негодование, за преждевременную их гибель. Не те ощущения вызывал в нас Бакунин: в нашем отношении к нему не было места скорби—его судьба, наоборот, возбуждала восторг, изумление и преклонение.

Еще будучи в России, мы знали, в общих чертах, об изумительных перипетиях его жизни: о роли Бакунина в революции 1848 г., о присуждении его дважды к смертной казни, о том, что он долго сидел в крепостях, за границей и в России, будучи прикованным к стене. Эта полная чрезвычайных приключений жизнь действовала на воображение многих из нас, молодых энтузиастов, и не в малой степени влияла на успех среди нас проповедуемых Бакуниным взглядов. Но живые рассказы лиц, непосредственно его знавших, в значительной степени еще усилили удивление, которое он в нас раньше вызывал. Подчас казалось, что переносишься в те легендарные времена, когда подвизались богатыри и титаны. В моем юном воображении Бакунин, с его бурной жизнью, представлялся подобным могучему и быстро несущемуся потоку. По словам лиц, знавших Бакунина, всюду, где он появлялся, хотя бы на короткое время, он электризовал массы, создавал тайные и явные общества.

То он в Швейцарии на заседаниях «Лиги мира и свободы» произносит пламенные речи, призывая представителей радикальной буржуазии к социализму, то он на конгрессе международного общества рабочих борется с Марксом за влияние. Вот Бакунин во Франции во время Парижской Коммуны, а там мы видим его в Италии или Швейцарии подготовляющим восстание. Годы, казалось, не оказывали никакого влияния на этого неугомонного борца; в старости он отличался той же удивительной предприимчивостью и находчивостью, как и в молодые годы.

С особенным восторгом, помню, все рассказывали о потрясающем впечатлении, которое производил могучий голос Бакунина. В связи с колоссальной фигурой и львиной головой, его страстные речи на народных собраниях и конгрессах производили свое действие даже на многих его противников. Еще сильнее было влияние Бакунина на собеседников в небольшом, интимном кругу: простотой и мягкостью в обращении он располагал к себе сердца молодых и старых, рабочих, ученых и государственных мужей. А благодаря его склонности с симпатичным ему лицом сразу переходить на «ты», как бы ни была велика разница в их летах, Бакунин всюду приобретал не только горячих последователей, но и преданнейших друзей, готовых по первому его зову пойти, куда он их пошлет.

В противоположность Герцену, Бакунин не только не сторонился молодых русских эмигрантов, но, наоборот, теснейшим образом сближался с ними. Хотя временами он разочаровывался в русской молодежи,—как это, напр., было после его сношений с Нечаевым,—все же на ней, главным образом, он строил свои надежды и планы относительно социального переворота в России и в романских странах.

В течение довольно долгого времени Бакунин, как известно, чрезвычайно высоко ставил Нечаева,—признавал его необыкновенным по силе воли и энергии человеком, а в некоторых отношениях даже подчинился его влиянию. Легко, поэтому, представить себе, как тяжело должен был почувствовать себя этот старый, раньше безгранично веровавший в русскую молодежь борец, когда он, наконец, убедился, что Нечаев—мистификатор, не останавливающийся ни пред какими безнравственными приемами для достижения намеченной им себе цели. Убедившись в этом, Бакунин, скрепя сердце, должен был предупреждать своих друзей и знакомых, которым он раньше рекомендовал Нечаева, как «необыкновенного молодого человека», чтобы они его остерегались, так как он «решительно на все низкое способен».

Современники восхищались дарованиями Герцена, его умом, публицистическим талантом, обширными и разнообразными его зна-

ниями. Но решительно никто из встречавшихся мне за границей личных его знакомых не проявлял особенно сильной любви и привязанности к нему, как к человеку. Это казалось тем более странным, что еще очень свежа была память о Герцене: тогда прошло всего восемь лет со времени его смерти. Наоборот, Бакунин всюду оставил друзей, преданных ему душой и телом, и не только среди соотечественников, но и между швейцарцами, французами, итальянцами, испанцами и т. д.

В то время как Герцен являлся в своем роде неприступным олимпийцем, допускавшим только официальные отношения и сближавшимся лишь с немногими избранниками, Бакунин, наоборот, по свойству его натуры, свободно дышал только в пучине людского водоворота, из которого ему легко удавалось вылавливать сотни, а то и тысячи безгранично преданных ему поклонников.

Восторженное отношение к Бакунину его друзей не исключало, со стороны, по крайней мере, некоторых из мне встречавшихся, признавания его несовершенств и недостатков. Случалось, что они приводили эпизоды комического характера, рисовавшие крайнюю непрактичность Бакунина в житейских вопросах,—его чрезмерные увлечения то одним, то другим человеком или планом, его полное неуменье распорядиться материальными средствами, если они,—что бывало не часто,—попадали в его руки. Но ко всем его промахам друзья его относились с тем добродушием, какое приходится замечать при сообщениях о маленьких дефектах у очень близких и горячо любимых людей. Помню, напр., такой рассказ известного итальянского анархиста Карло Кафиерро.

Потомок старинной дворянской семьи, получивший хорошее образование, Кафиерро, наряду с некоторыми другими соотечественниками—Малатеста, Коста и др., сделался преданнейшим приверженцем Бакунина. Благодаря полученному наследству, он стал обладателем сравнительно большого состояния—тысяч в полтораста, а то и больше, франков,—в точности не помню. Деньги эти он решил употребить на осуществление проповедуемых Бакуниным взглядов—на дело установления анархического строя в Италии. Но кто же в состоянии был придумать наилучший, наиболее практичный и целесообразный план для наиболее быстрого осуществления этой задачи? Само собою разумеется, только безгранично любимый и высокочтимый учитель и друг—Бакунин. В полное его распоряжение Кафиерро и предоставил свои значительные средства.

Став фактическим их владельцем, Бакунин, по обыкновению, горячо и энергично принялся за осуществление желания своего молодого друга. Сторонник пропаганды действием, он для совершения «социальной революции» в Италии,—как, впрочем, и в любой другой

стране,—считал вполне достаточным, чтобы в местности с наиболее подготовленным к тому, самым отзывчивым населением вспыхнуло вооруженное восстание. А для возбуждения восстания, по его мнению, необходимо было только одно: чтобы небольшой отряд вооруженных анархистов внезапно появился в такой местности и сделал призыв к народу. При таком упрощенном взгляде очень нетрудной представлялась задача социальной революции: весь вопрос сводился лишь к тому, каким образом доставить на данное место сразу необходимый вооруженный отряд, не возбудив предварительными приготовлениями внимания бдительной полиции. Находчивый и изобретательный апостол анархии, став распорядителем сравнительно больших материальных средств, легко обошел это затруднение: он задумал купить виллу в южной части итальянской Швейцарии, с тем, чтобы провести из нее подземный ход в Италию. По такому туннелю вооруженный отряд в темную или в ясную ночь, смотря по желанию главнокомандующего, мог внезапно появиться в Италии. Предусмотрительность Бакунина простиралась столь далеко, что, для устранения подозрений со стороны соседей, он подкоп из виллы решил вести под видом необходимого, будто бы, ремонта дома.

Выработав план во всех деталях, Бакунин энергично взялся за его осуществление: подходящая вилла вблизи Локарно (в Швейцарии) была вскоре приобретена за довольно высокую цену, и немедленно приступлено было ко всяким сооружениям. Во время всех этих операций Бакунин, конечно, проявлял «необычайную практичность». В качестве иллюстрации Кафиерро, между прочим, привел следующее.

В числе приемов, необходимых для отвода глаз, Бакунин нашел подходящим развести при вилле цветник. Он обратился, поэтому, к одному своему приятелю, профессору ботаники в Бернском университете, с просьбой прислать ему разных семян, указав в своем письме такие количества их, что специалист пришел в крайнее изумление и в своем ответе с иронией спросил Бакунина, не собирается ли он покрыть сплошным цветником весь Тессинский кантон.

При «такой практичности» Бакунина, само собою разумеется, решительно ничего не вышло из прекрасно, казалось, разработанного во всех деталях грандиозного плана... Так закончил Кафиерро свой живой и образный рассказ. Он нисколько не сетовал на Бакунина за то, что на эту бесполезную затею истрачена была бо́льшая часть его состояния: когда я познакомился с Кафиерро (в 1880 г.), он находился в очень стесненных материальных условиях.

Но далеко не столь добродушно и снисходительно относился Кафиерро к другому плану Бакунина, касавшемуся личных чувств молодого итальянца.

Подобно Наполеону I, любившему, как передают, сватать невест своим генералам, Бакунин также принимал иногда очень деятельное, хотя и вполне бескорыстное, участие в сближении своих последователей с последовательницами. По словам Кафиерро, Бакунин неимоверно расхвалил ему Олимпиаду Кутузову и тем сознательно воздействовал на чувство и воображение его, тогда неопытного, увлекавшегося юноши. Результатом влияния и даже прямых советов обожаемого учителя было то, что Кафиерро женился на Кутузовой. Но брак этот оказался крайне неудачным: молодые люди совершенно не подходили друг к другу. Испытав всякие нравственные страдания, они вскоре должны были разойтись. О роли Бакунина в этой личной истории Кафиерро говорил с большой горечью.

Забегая несколько вперед, сообщу здесь о трагической кончине этого в высшей степени симпатичного человека.

Участник вместе с Степняком-Кравчинским известной Беневентской попытки вызвать восстание в Италии, Кафиерро избежал казни, лишь благодаря неожиданной амнистии, по случаю восшествия на престол короля Гумберта. Поселившись после этого в Женеве, он вращался, главным образом, среди нас, русских эмигрантов. Благодаря мягкому, доброму характеру, Кафиерро очень сблизился с некоторыми из нас, в том числе и со мною. Из симпатии к русским, а также, вероятно, от нечего делать, он принялся даже за изучение нашего языка, в котором, помнится, недалеко ушел. Работал Кафиерро не особенно усердно,—лишь изредка помещая небольшие статейки в французских и итальянских анархических газетах, и, в общем, чувствовал себя неважно. Сознание ли беспочвенности своего положения, в связи со всем им пережитым в последние годы, было тому причиной,—только любимый всеми нами «Карло» захандрил и, года два спустя, заболел психически. В наступавшие у него светлые минуты он пытался покончить с собою, чему каждый раз мешал устроенный за ним бдительный надзор. Но ему все же удалось осуществить свое намерение...

Коснувшись одного из итальянских друзей Бакунина, не могу обойти молчанием и другого, с которым мне также пришлось познакомиться в те времена. Я имею в виду Малатеста, также участника Беневентской попытки.

Совсем иного склада характера, чем Кафиерро, был этот молодой итальянский приверженец Бакунина. Энергичный, настойчивый и чрезвычайно умный,—Кравчинский даже утверждал, что то был один из самых умных трех людей, каких он когда-либо встречал,—Малатеста был чужд колебаний, сомнений и недовольства своей судьбой, хотя ему за свои воззрения пришлось вынести не меньше, чем его другу, Кафиерро. Он и до настоящего времени остался ярым пропо-

ведником бакунинских взглядов. Когда, спустя 20 лет, мы вновь с ним свиделись (в 1902 г.) в Лондоне,—во всех других европейских странах ему было воспрещено жить,—он произвел на меня впечатление такого же убежденного и стойкого анархиста, каким я его знал за много-много лет пред тем.

И не только Малатеста, но, за ничтожными исключениями, почти все иностранные друзья Бакунина остались непоколебимыми в своих убеждениях: одни—до последних дней жизни, другие, еще живущие—до настоящего момента. Среди первых самое видное место занимали знаменитый географ Элизе Реклю и член Парижской Коммуны Лефрансэ, с которым я также познакомился в те времена.

Из немногих оставшихся в живых друзей Бакунина укажу на известного швейцарца Гильома, сравнительно недавно выпустившего в свет свои обширные мемуары (в 4-х т.т.), в которых он много и с большим восторгом говорит о своем учителе. А из русских напомню о друге его, М. П. Сажине. По утверждению многих, Сажин (или Росс, как он назывался в эмиграции) являлся правой рукой Бакунина, особенно в последние годы его жизни, преимущественно в делах, касавшихся России. Поэтому Росс имел довольно сильное влияние на нас, южан, среди которых, как известно, теории Бакунина имели особенно большой успех. Многие чрезвычайно высоко ценили способности Росса—его энергию, практичность и предприимчивость. Но имелись у него и враги, преимущественно среди лавристов, которые не находили достаточно слов для выражения своей к нему ненависти. Повидимому, однако, он был в те времена очень крупным, недюжинным человеком. К сожалению, он рано и надолго лишился свободы.

Кажется, осенью 1876 г. Сажин приехал на время из-за границы на юг России, чтобы ближе сойтись с нами, «бунтарями», и помочь нам в наших предприятиях. На обратном пути, при переходе через границу, он был выдан властям. Псевдоним его вскоре раскрыли и его привлекли к суду. По процессу 193-х Росс-Сажин был приговорен к каторжным работам. Очутившись в конце 70-х годов в Сибири, в качестве ссыльно-поселенца, Сажин проявил там на разных практических поприщах присущие ему выдающиеся способности. Впоследствии ему дано было право вернуться в Европейскую Россию. В настоящее время он находится в Петербурге.

Возвратимся, однако, к иностранным друзьям Бакунина.

Общей у всех у них чертой было большое расположение к его русским приверженцам, на которых они как бы переносили свои к нему симпатии. Но и независимо от этого русские ученики Бакунина своими личными свойствами, повидимому, вызывали к себе симпатии у иностранных его последователей, нередко высказывавших удивле-

ние по поводу беззаветной преданности русских бакунистов революционному делу, а также их готовности ради него на всевозможные лишения и жертвы. Им нравилась прямота, непосредственность и искренность русских их единомышленников. Неудивительно, поэтому, что, несмотря на крайнее различие в условиях воспитания, в характерах и привычках, русские последователи Бакунина быстро сходились тогда с его иностранными друзьями.

Когда я приехал в Швейцарию, у всех был еще совершенно свеж в памяти образ апостола всеобщего разрушения. В Женеве и в других местах лица, знавшие Бакунина, указывали вновь приезжавшей молодежи дома, в которых он жил, здания, где он выступал на собраниях, конгрессах и пр.

Тогда же некоторые из иностранных последователей и друзей Бакунина носились с мыслью поставить памятник на его могиле, путем сбора необходимой для того суммы по одному су (2 коп.) с каждого его приверженца. В то время это казалось легко осуществимой задачей. Действительность, однако, не оправдала этого предположения: даже «маленькие су» поступали довольно туго. Затем план этот был забыт, и на бернском кладбище с трудом можно отыскать место, где погребен некогда столь любимый многими апостол анархии.

Теперь сообщу, как и очень популярная в 70-х годах теория этого апостола после его смерти также быстро стала забываться, уступив место другим, более выдержанным и последовательным взглядам.

* * *

Как я уже сказал, наибольшим авторитетом среди революционной молодежи в 70-х г.г. пользовался, несомненно, Бакунин: слова его мы готовы были принимать без малейшей критики; все, что ни предлагал он делать, мы склонны были находить правильным, целесообразным, практичным. Напомню о сообщении Дебагория-Мокриевича по поводу его встречи с Бакуниным в Локарно (Швейцарии). Речь зашла о причинах, обусловивших неудачу незадолго пред тем происшедшего в Барцелоне восстания.

«Бакунин,—рассказывал Дебагорий-Мокриевич,—выразил, между прочим, ту мысль, что сами революционеры были сильно виноваты в неудаче: надо было сжечь правительственные здания—это первый шаг в момент восстания, а они этого не сделали,—с жаром проговорил он».

Если бы анархисты предали пламени всякого рода правительственные здания с заключавшимися в них документами, то восстание, по утверждению Бакунина, могло бы быть успешным, иначе говоря,

оно могло бы разрастись в победоносную революцию. Последняя не произошла лишь из-за ничтожной оплошности самих революционеров...

Или вот другое, не менее оригинальное, рассуждение Бакунина:

«Помню,—рассказывает там же Мокриевич,—как Бакунин утверждал, что участие жуликов в революционных делах служит вернейшим доказательством успеха, потому что жулики такой народ, который скорее других определяет истинное положение дел и дает настоящую оценку событиям: и раз они начинают вмешиваться в революционное дело, то это показывает, что оно сделалось настолько популярным, что может явиться предметом эксплоатации для личных целей».

И такие рассуждения, с современной точки зрения кажущиеся наивными и комичными, тогда, в семидесятых годах, мы находили вполне разумными, чуть ли не верхом мудрости! В течение почти целого десятилетия над умами многих сотен, если не тысяч, молодых людей, среди которых было не мало талантливых и выдающихся лиц, господствовали, как увидим ниже, аналогичные переданным Мокриевичем взгляды апостола всеобщего разрушения. На них мы строили наши надежды и планы изменения не только нашего родного строя, но и социальных условий всего земного шара.

Воззрения Бакунина по поводу экономических условий жизни русского народа, главным образом крестьян, легли, как известно, в основание «народничества», господствовавшего—в разных оттенках и изменениях—вплоть до торжества у нас марксизма, и, в сущности, окончательно они не исчезли еще и в настоящее время.

Но не с самого момента возникновения у нас революционного движения Бакунин занял столь исключительное положение: наряду с ним в начале 70-х годов довольно крупную роль играл также П. Л. Лавров, имевший в том или ином городе иногда даже больше приверженцев, чем Бакунин.

Крайне отличны были причины, обусловившие влияние этих двух лиц на нашу передовую молодежь.

Кабинетный ученый, придерживавшийся в шестидесятых годах довольно умеренных взглядов, Лавров не отличался ни сколько-нибудь сильным характером, ни революционным темпераментом. Политическая его карьера сложилась благодаря случайному стечению некоторых обстоятельств.

Учрежденная, после покушения Каракозова на Александра II (4-го апреля 1866 г.), следственная комиссия, с знаменитым Муравьевым-Вешателем во главе, хватавшая направо и налево всякого, чье имя приходило ей на память, сочла нужным произвести обыск также у проф. Михайловской артиллерийской академии подполковника П. Л. Лаврова. Из найденных у него бумаг обнаружи-

*

лось, что он состоял в переписке с некоторыми «неблагонадежными» лицами, а также, что он пописывал стихи, в которых неблагосклонно отзывался о правительстве. Этих «преступлений» было более чем достаточно, чтобы подполковника Лаврова, после довольно продолжительного предварительного заключения, военно-судебная комиссия приговорила к трехмесячному аресту. Но генерал-аудитор остался недоволен этим постановлением и потребовал, чтобы Лавров был, сверх того, выслан под надзор полиции. Водворенный затем в одном захолустье Вологодской губернии, Лавров начал оттуда посылать в популярную в те времена «Неделю» свои «Исторические письма», которые, вскоре по их напечатании, доставили ему громкую известность.

Пробыл Лавров в ссылке три года и, вероятно, еще через пару-другую лет, подобно Шелгунову, Энгельгардту и другим литераторам и профессорам, подвергшимся также разным преследованиям— арестам и высылкам, тоже очутился бы в рядах наших прогрессивных легальных писателей. Но, как это нередко со многими случается, в его судьбе большую роль всегда играли случайные обстоятельства и посторонние лица. Известный революционер, Г. А. Лопатин, задумал увезти из ссылки популярного автора нашумевших «Исторических писем», а затем ему помогли перебраться за границу.

Таким образом в начале 1870 г. Лавров стал политическим эмигрантом. Столь же неожиданно для себя он оказался вскоре и вожаком значительной части русской социалистической молодежи.

Когда некоторыми представителями ее признано было необходимым создать за границей социалистический орган, то им предстоял выбор между двумя лицами, как возможными кандидатами в редакторы: между Бакуниным и Лавровым. За Бакунина говорило его громкое прошлое, но он вовсе не был известен в качестве литератора. Наоборот, Лавров, казалось, обладал всеми необходимыми для этого свойствами: за ним уже и тогда установилась репутация энциклопедически-ученого человека, а нашумевшие его «Исторические письма» сделали его известным и как выдающегося писателя. Выбор в редакторы журнала пал, таким образом, на него.

Бакунин,—если верно передавали мне лица, близко к нему стоявшие,—был чрезвычайно огорчен и обижен, когда узнал, что некоторая часть тогдашней передовой молодежи оказала предпочтение Лаврову, которого, к слову сказать, он совсем не высоко ставил, считая его «доктринером», «филистером» и т. п. По всей вероятности, Бакунин и сам отказался бы от роли редактора, так как едва ли признавал себя подходящим для этого человеком. Но прямое обращение к Лаврову не могло не задеть его. Если память мне не изменяет, один из ближайших друзей Бакунина, Н. И. Жуковский,

передавал, кажется, в связи с этим инцидентом, будто Бакунин одно время до того был настроен против русской молодежи, что поговаривал об отказе от каких-либо с нею сношений. Это очень правдоподобно—такие мысли могли в это время приходить ему на ум, если примем во внимание, что всего за год перед тем Бакунину пришлось вынести не мало огорчений из-за Нечаева, выдававшего себя за представителя всей русской революционной молодежи. Известно, что состоявшееся в 1872 г. исключение Бакунина из Международного общества рабочих мотивировалось также его «неблаговидными сношениями с Нечаевым».

Если верно, что Бакунин был огорчен оказанным его противнику предпочтением, то он мог скоро утешиться: не успел еще выйти первый номер нового журнала, как его редактор уже вызвал против себя чуть не общее неудовольствие среди крайней революционной молодежи. Выпущенная Лавровым программа предполагавшегося журнала была настолько умеренна, что годилась бы для какого-нибудь земско-либерального органа. Не того, конечно, ожидала революционная молодежь от своего заграничного журнала. Узнав о всеобщем возмущении, Лавров, как известно, составил вторую программу, оказавшуюся, однако, не многим радикальнее первой. Поэтому он принужден был в третий раз изложить свое «credo», являвшееся отличным от двух первых и уже настолько подходящим, что с ним, наконец, помирились более умеренные из тогдашних социалистов.

Лавров, как известно, объяснил это троекратное составление программы в течение очень короткого промежутка времени тем, что, соглашаясь редактировать журнал, он предполагал, «что инициаторами его были прогрессивные и либеральные литераторы, к политическим взглядам которых он и находил нужным приноровить свою программу». Революционной молодежи и нашей эмиграции он тогда вовсе еще не знал, и, лишь убедившись, что это социалисты затеяли заграничный орган, он переселился из Парижа в Цюрих, где, как я уже упомянул, в то время сосредоточивалось много русских студенток и студентов, а также и изгнанников. Там, по его признанию, он впервые познакомился с той средой, которой, еще не зная, он, однако, согласился стать идейным руководителем. Убедившись в том, что цюрихская учащаяся молодежь и эмигранты разделились на разные фракции, Лавров решил примирить их, для чего и написал свою вторую программу. Но, когда из этой попытки ничего не вышло, он, наконец, написал свою собственную программу, выражавшую уже его настоящие взгляды.

Едва ли нужно распространяться о том, что данное самим Лавровым объяснение частых перемен им программ мало говорило в пользу устойчивости и определенности его убеждений. Те же свой-

ства проявил он затем и во время редактирования сперва журнала, а потом газеты «Вперед».

Задачей своей Лавров поставил (в третьей по счету программе): «борьбу реального миросозерцания против богословского», или, что то же, «борьбу науки против религии»,—с одной стороны, и «борьбу рабочего против эксплоатирующих его классов, борьбу трудящихся за справедливейший строй»—с другой». Но редактор «Вперед'а» тут же прибавляет, что первая задача для нашей страны не имела значения, а потому являлось совершенно непонятным, зачем ему понадобилось вводить в программу пункт, который он сам же находил ненужным.

Однако, наиболее характерными для Лаврова были его взгляды относительно способов борьбы за лучший, «справедливейший строй». В этом отношении редактор «Вперед'а» проявлял чересчур большую терпимость, так как в число сотрудников он приглашал решительно всех без различия лиц, «желающих торжества рабочему в борьбе с его врагами». Лавров обещал «охотно принять сотрудничество тех, которые думают, что рабочее сословие может захватить в свои руки политическое влияние... чтобы потом перестроить общество путем прямого законодательства». Но он не отказывался и от «содействия лиц, считающих этот путь нецелесообразным и проповедующих, что рабочие не должны иметь ничего общего с современным государственным строем». Первых,—очевидно, тогдашних социал-демократов,—он обещал лишь «предостеречь от опасности, грозящей рабочим, при участии в буржуазных формах борьбы политических партий, уступить долю своей программы и увлечься пустою диалектикой парламентских говорунов». Вторым же, т.-е. анархистам, Лавров ставил на вид, что, «раз они избирают систематически путь революции для достижения своих целей, то они берут на себя обязанность организовать победу». Но оставалось совершенно неясным, как отнесется редактор, если эти направления не обратят никакого внимания на его «предупреждения» и «напоминания». Вообще, программа газеты, как затем и журнала, отличалась крайней неопределенностью, неполнотой, сбивчивостью и противоречиями. Ни по вопросу о значении политической свободы, ни относительно наиболее важного в те времена взгляда на коренной переворот Лавров не давал никакого решительно ответа. Так, по поводу предстоявшей, как тогда казалось, вскоре социальной революции, он писал: «Когда течение исторических событий укажет минуту переворота и готовность к нему русского народа, лишь тогда можно призвать народ к осуществлению этого переворота». Но затем он прибавлял, что, так как «минута наступления революции могла быть неожиданной», то Лавров приглашал готовиться к ней «умственным развитием, умствен-

ным опытом и выработкой в себе твердого характера». К этой же «неожиданной» минуте он советовал подготовлять и русский народ, «уясняя ему его истинные потребности, его вечные права, его грозные обязанности и могучую его силу».

Для столь сложной подготовки, как самих пропагандистов, так и народа, конечно, потребовалось бы не мало времени. Но ниже мы увидим, что редактор «Вперед'а» допускал возможность коренного переворота и в очень близком будущем.

В чувствах, которые значительная часть передовой молодежи семидесятых годов питала к Бакунину, как я уже выше сообщил, несомненно, была немалая доля романтизма, что, конечно, противоречило утверждениям тогдашних социалистов, что они придерживаются только «реалистических», «рационалистических» и т. п. взглядов, не имеющих ничего общего с «романтизмом», каковой, подобно Базарову, они давно, будто бы, вышвырнули за борт. Но известно, что не всякое утверждение людей относительно себя самих можно принимать за истину, а потому, несмотря на «реалистичность» убеждений революционеров того периода, в их увлечении апостолом всеобщего разрушения не малую роль играла несомненная их склонность к фантастическому, невероятному, таинственному и т. п., а для этого богатую пищу давало прошлое Бакунина, о чем я уже вскользь упомянул.

Казалось, не было того несбыточного деяния, в возможность которого мы не поверили бы, раз узнали бы, что осуществимость его допускает Бакунин.

Помню, с какой завистью мы, юноши, смотрели на тех немногих счастливцев, которые, побывав в Швейцарии, видели самого Бакунина: на них мы готовы были переносить часть благоговения, которое вселял в нас образ этого замечательного человека. Одного того уже, что эти товарищи непосредственно говорили с Бакуниным и он дал им всякие разъяснения, было достаточно, чтобы мы признали их главарями кружков.

Но само собою разумеется, что в увлечении значительной части передовой молодежи Бакуниным и его теориями играло преобладающую роль то, что его взгляды наиболее всего подходили под тогдашнее наше настроение. Поэтому мы и находили их более понятными и близкими нам, более осуществимыми и целесообразными, чем проповедь Лаврова. В значительной степени также, как увидим ниже, на успех теории Бакунина повлияли сам редактор «Вперед'а», и, в особенности, его последователи.

Кроме проповеди анархии, наиболее существенным в воззрениях апостола всеобщего разрушения был, конечно, его взгляд на

народные восстания. Напомню, что по этому поводу сообщает Дебагорий-Мокриевич:

«Мы должны беспрестанно делать попытки восстания,—говорил Бакунин.—Пусть нас разобьют один, два, наконец, десять, двадцать раз, но если на двадцать первый народ поддержит и восстание сделается общим, жертвы окупятся».

Затем, как известно, в своей «Государственности и анархии» Бакунин утверждал, что «в любой момент у нас не трудно поднять всякую деревню». Но такие изолированные бунты, хотя также не бесполезны, все же не могут привести к полной победе. Для последней необходимо одновременное восстание всего народа. Мыслимо ли это? Бакунин отвечал утвердительно, и вот почему.

Для победоносного восстания необходима наличность двух главных условий, каковые в России уже имеются.

«В русском народе,—говорит Бакунин в названном выше сочинении,—существуют в самых широких размерах те два первых элемента, на которые мы можем указать, как на необходимые условия социальной революции: он может похвастаться чрезвычайною нищетою, а также и рабством примерным». Затем, во-вторых, необходим «идеал, который был бы способен осмыслить народную революцию, дать ей определенную цель». «Существует ли у русского народа такой идеал?»—спрашивает далее Бакунин и отвечает: «если бы такового не существовало, то надо было бы отказаться от всякой надежды на революцию», так как «никакой, даже самый гениальный, человек не может дать народу идеи, плана, идеала, раз в нем самом еще не существуют их зародыши». По счастью, оказывается, в русском народе как раз существует такой идеал, и «даже нет необходимости слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты».

Этим «идеалом» являлось «народное убеждение, что земля принадлежит ему, народу, что право на пользование ею принадлежит общине, миру, а также,—прибавляет Бакунин,—«квази-абсолютная автономия,—общинное самоуправление, а вследствие того, решительно враждебное отношение общины к государству».

Эти черты, находящиеся в основе русского народного идеала, по мнению Бакунина, «по существу своему вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании западноевропейского пролетариата».

Но, наряду с указанными выше положительными сторонами, Бакунин, как известно, не отрицал наличности и отрицательных черт у русского народа, каковыми, по его мнению, была «патриархальность, поглощение лица миром и вера в историческую власть, т.-е. в царя».

Однако, этим чертам он не придавал господствующего значения, так как борьба с ними давно началась в недрах самого народа. Революционером, шедшим против всех этих пережитков и выдвинутым самим народом из своей среды, Бакунин, как известно, признавал «разбойника, так как только он, кроме властей, стоящих вне мира, осмеливается идти против мира».

Таким образом, между тем как Лавров то находил, что предварительно необходима сложная подготовка для коренного переворота, то допускал, что «минута его наступления может явиться неожиданной»,—Бакунин, наоборот, уже считал русский народ вполне готовым ко всеобщему восстанию и к водворению анархического строя. Для этого он находил лишь необходимым, чтобы «честная, искренняя, до конца преданная интересам угнетенного народа социалистическая молодежь» примкнула к крестьянской массе. «Она должна,—писал он,—идти в народ, несомненно, потому, что ныне везде, по преимуществу же в России, вне народа, вне многомиллионных чернорабочих масс, нет более ни жизни, ни дела, ни будущности».

Известно, что возможность обширного восстания русского народа Бакунин доказывал ссылкой на бунты Стеньки Разина и Пугачова. Их неудачи, по его мнению, доказывали только, что «в народном идеале имеются дефекты», с каковыми и следовало бороться.

Поэтому главная задача революционной молодежи должна была состоять в том, чтобы разъяснить народу, «кто является наибольшим его врагом». Кроме того, в виду «замкнутости общин, уединения и разъединения крестьянских мест, делающих затруднительным одновременность народного восстания», Бакунин предлагал молодежи «создать тесную связь между крестьянами всех деревень, волостей и пр. Когда же эта связь будет создана, то, как само собою уже разумелось, совсем не трудно будет вызвать восстание, каковое, как мы знаем, обязательно должно было увенчаться успехом. Тогда «снизу вверх» самостоятельно и добровольно сорганизуются общины в области, последние, в свою очередь, сложатся в более обширные федерации, которые обхватят нынешние государства, а затем вскоре и весь земной шар.

Для осуществления этой программы, по мнению апостола анархии, в противоположность взгляду Лаврова, революционной молодежи нисколько не надо было подготовляться теоретически, так как она не только ничему не может научить народ, но еще сама должна многому у него поучиться.

«Русский народ,—писал Бакунин,—только тогда признает нашу образованную молодежь своею молодежью, когда он встретится с нею в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как сви-

детельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая соучастница, повсюду, всегда, во всех народных волнениях и бунтах, как крупных, так и самых мелких».

В виду всех этих соображений, выдающийся агитатор бросил в среду возбужденной, экзальтированной молодежи клич «в народ». И, подхваченный многими сотнями голосов, этот клич вызвал, как известно, небывалое не только в России, но и ни в какой другой стране движение среди передовой части нашего интеллигентного общества.

* * *

В теоретической части программы—во взглядах на конечную цель, на будущий «справедливейший строй», который должен был вскоре сменить настоящий—между Бакуниным и Лавровым не было существенного различия, так как последний почти целиком принимал анархический идеал первого. Также не было—в особенности в первое время—у них разногласий и во взглядах на русские политические и экономические условия: Лавров тоже признавал общинное землевладение основой, могущей развиться в высшую, коллективистическую форму. Разногласия между этими двумя вожаками передовой молодежи семидесятых годов, а затем и между их приверженцами начались лишь с практической части программы, или, как я уже упомянул, с вопроса о близости социальной революции, а следовательно, и о связанных с нею средствах и путях для деятельности в народе.

Лавров, как известно, находил необходимым, чтобы лица, намеревающиеся пойти в народ, предварительно прошли самые разнообразные науки. Выработанная им для подготовки к этой деятельности программа начиналась с точных наук и постепенно переходила к более сложным, чтобы закончиться социальными. Много-много лет усиленнейшего труда требовалось бы для такой подготовки. С момента своего возникновения лавризм не был жизненным направлением: он обрекал своих адептов на бездеятельность, скептицизм, выжидание, а потому должен был погибнуть, оставив немного следов.

Ученики Лаврова оказались более умеренными, бо̀льшими постепеновцами, чем он сам. Умышленно или неумышленно, но они распространяли ошибочное представление, что таков же, как они, и сам их руководитель. Это подрывало авторитет Лаврова и возбуждало многих против него, почему он быстро стал терять свою недавнюю популярность.

Он отличался мягким и податливым характером, а потому легко подпадал под чье-либо влияние. Не он руководил, а им всегда

руководил кто нибудь. Этим отчасти объяснялись также неопределенность и неустойчивость его воззрений относительно возможной в России революционной деятельности, его неуменье редактировать социалистический орган и пр.

Кроме того, Лавров проявлял такое отчаянное незнание людей и жизни, что временами вызывал этим удивление даже среди своих значительно более молодых по возрасту последователей. Так, он проповедывал, чтобы каждый пропагандист, находясь среди народа, стремился довести крестьян «до своего нравственного и умственного уровня». Если мы примем во внимание, какой обширной эрудиции Лавров требовал от самих пропагандистов, с одной стороны, и насколько невысок был умственный горизонт лишь незадолго пред тем освобожденных от жестокого рабства крестьян—с другой, то легко представим себе, до чего не только неисполнимой, но и прямо наивной должна была всем представляться задача, поставленная редактором «Вперед'а» русской социалистической молодежи.

В другой раз Лавров на страницах своего органа занялся вычислениями, через сколько лет может быть распропагандирован весь русский народ. Исходя из предположения, что в данном году имеется, положим, всего сто вполне сознательных социалистов, и полагая, что каждому из них в течение года удастся распропагандировать наименьшее количество адептов, напр., двух, затем, отчислив такое-то число на арестованных, умерших и т. д., бывший профессор высшей математики, чуть не с точностью до одного человека, определял, сколько убежденных сторонников «справедливейшего строя» будет иметься через два, три и т. д. лет; причем, конечно, получались огромные цифры. По поводу этих упражнений солидного ученого, помню, смеялись даже мы, тогда юные его приверженцы.

Кроме этих причин, на потерю популярности Лаврова отчасти влияла также и его писательская манера. Вольтер говорил, что все стили хороши, за исключением скучного. Лавров почему-то выбрал именно этот. Едва ли среди наших революционных писателей имелся еще другой, который бы писал так длинно, сбивчиво и неинтересно, как он. Над пониманием его тяжеловесных фраз некоторые из нас бились, как над решением трудных математических задач. Наилучшим доказательством неудовлетворительности писательской манеры Лаврова может, мне кажется, служить отзыв столь сдержанного и в общем беспристрастного человека, как профессор А. Тун.

«Статьи (во «Вперед'е». *Л. Д.*),—писал он в своей книге,— были очень длинны и, большею частью, отличались убийственной

скукой; поэтому их могли целиком прочесть лишь те революционеры, которые, живя зимой в степных деревнях, не имели никаких других книг».

Тун был вполне прав: я положительно знаю, что даже преданные сторонники Лаврова нередко засыпали за чтением его статей,— за деянием, за которое они могли поплатиться не только потерей свободы и здоровья, но и жизни.

Неудивительно, что, с середины семидесятых годов, стали безраздельно господствовать среди передовой нашей молодежи воззрения апостола анархии. При этом, однако, существовали—в особенности в первое время—более или менее значительные оттенки между северными и южными бакунистами.

Вообще, на юге воззрения Бакунина начали раньше завоевывать преобладающее влияние и становиться господствующими. В то время, как на севере лишь немногие считали Бакунина своим идейным руководителем, у нас, на юге, почти сплошь все революционеры являлись уже ярыми его последователями. На севере еще во второй половине семидесятых годов существовали смешанные кружки, в которые входили бакунисты и лавристы или одни и те же члены их разделяли отчасти воззрения обоих руководителей. На юге подобных смешанных групп редко можно было встретить даже в самом начале того десятилетия.

Но самым крупным отличием южных последователей Бакунина от северных являлись приемы деятельности среди народа тех и других.

Известно, что за южанами очень рано укрепилась кличка «бунтарей», между тем как северян—да и то лишь со второй половины семидесятых годов—называли «народниками».

Одни уже клички эти отчасти указывали на существовавшее различие между теми и другими.

Мы уже знаем, что Бакунин считал русский народ почти вполне готовым к совершению коренного переворота. Приняв целиком все его взгляды, южане стремились, поэтому, немедленно осуществить их, для чего они считали излишней всякую предварительную подготовку.

Изучать, знакомиться с условиями жизни крестьян мы считали если не излишним, то, во всяком случае, второстепенным делом. Знать в общих чертах, что они бедствуют вследствие малоземелья и больших налогов, нам казалось этого вполне достаточным для выработки общего плана деятельности: необходимо было только, тем или иным способом, объявить крестьянам, что им будет принадлежать вся земля в общинной собственности, за пользование которой им ничего не придется платить, и все пойдет как по

массу. Такой простой план, по уверению Бакунина, вполне совпадал с собственными взглядами, желаниями и стремлениями огромного большинства русских крестьян. Поэтому у нас не могло быть оснований сомневаться в успехе нашего решения так или иначе вызвать более или менее крупное народное восстание. Вот почему на последнем мы исключительно и сосредоточивали все наше внимание.

Бакунистские воззрения ограничивали наш кругозор, обусловливали нашу общественную отсталость и неразвитость. Поэтому, по всему своему складу, по господствовавшим среди нас, южных бунтарей, понятиям, взглядам и привычкам, мы скорее походили на удалых добрых молодцев, готовых на самые отчаянные предприятия, чем на сознательных политических деятелей. Все же в нашем освободительном движении, как известно, некоторые из южных бакунистов сыграли очень заметную роль.

Как я уже сказал, основные воззрения основателя анархии отчасти продолжали господствовать среди нашей революционной молодежи еще тогда, когда формально она давно от них отказалась, начав называть себя сперва «народовольцами», а впоследствии «социалистами-революционерами». Более того: в значительной степени от некоторых взглядов Бакунина не отделались и современные социал-демократы.

Таким образом, роль Бакунина в России приходится признать чрезвычайно продолжительной, хотя далеко не благотворной.

Подобно тому, как Киев являлся главным отправным пунктом южных бакунистов, так Петербург был центральным местом северных. Одно уже это обстоятельство в некоторых отношениях не могло не влиять различно на тех и других. Северяне представлялись более серьезными, положительными и практичными людьми: в них не замечалось той односторонности и узости, как у южан; они были также образованнее и развитее бунтарей. Благодаря всем этим качествам и некоторым другим причинам, на которых не буду останавливаться, так как это нас завело бы чересчур далеко, северянам, как известно, еще в 1876 г. удалось заложить прочное основание для организации, приобревшей два года спустя большую известность под именем ею же созданной в Петербурге подпольной газеты—«Земля и Воля». Когда у нас говорят о революционном народничестве семидесятых годов, то обыкновенно имеют в виду только эту организацию. Но, само собою разумеется, исторически это неправильно: фактически южные бакунисты на несколько лет раньше стали носиться с идеями так-называемого «народничества». Организации «Земля и Воля», которую до возникновения ее органа, как известно, величали «троглодитами» или «натансоновцами»,—не-

сомненно, принадлежит огромная заслуга как в обосновании, формулировке и дальнейшем развитии народнических взглядов, так и вообще в революционном движении той эпохи. Но из этого, конечно, не следует, что можно не считаться с другими фактами и по своему усмотрению—как то делают некоторые—изображать наше революционное прошлое.

Выше я уже упомянул о том, что северные бакунисты имели определенно выработанную и формулированную программу, в которой изложены были народнические воззрения, общие у них с южанами. Кроме того, у «троглодитов» существовал также организационный устав, основанный на подчинении меньшинства большинству. Одно это являлось уже значительным шагом вперед по сравнению с анархией, господствовавшей в этом отношении среди южан.

Но главная заслуга северян состояла, как известно, в стремлении сорганизовать все силы, привлечь к себе всех наиболее дельных и активных сторонников Бакунина, как из уцелевших членов разгромленных кружков, так и из появившихся новых его адептов. В этом отношении большую роль сыграл Марк Натансон, а после его ареста (летом 1877 г.)—его жена, Ольга Натансон, Оболешев и, в особенности, Александр Михайлов: известно, что к началу 1878 г. этим деятелям действительно удалось объединить очень многих из видных революционеров. Благодаря этому, «Земля и Воля» в тот момент являлась самым значительным из всех тайных обществ, существовавших в семидесятых годах до возникновения «Народной Воли».

«Землевольцы»—будем так называть членов этой организации—имели тогда прочно устроенные «поселения» в народе, заключавшиеся в разных официальных постах, которые занимали их сочлены в селах и деревнях,—в качестве писарей, фельдшеров, учителей и т. п.; они располагали также довольно большими связями в обществе, обладали материальными средствами; у них к тому же имелась и хорошо оборудованная подпольная типография, из которой часто выходили листки и прокламации по поводу разных современных событий и пр.

Местом своих «поселений» землевольцы выбрали известные своими традициями побережья р.р. Волги, Урала, Дона. Там, предполагалось, должны были еще сохраниться предания о больших народных восстаниях под предводительством Разина, Пугачова, Булавина и др., а следовательно, население считалось более восприимчивым и способным к решительным выступлениям.

В отличие от южан, стремившихся, как мы уже знаем, какими бы то ни было способами к тому, чтобы вызвать народное восстание, землевольцы ставили себе более широкую цель. Главной их задачей было, прочно обосновавшись в народе, покрыв возможно более об-

ширный район своими поселениями, зарекомендовать себя населению с наилучшей стороны и, таким образом, приобрести среди него связи и симпатии. Важные сами по себе, тесные отношения с крестьянами могли оказаться особенно ценными во время неожиданно вспыхнувшего среди них волнения в какой-нибудь из занятых землевольцами местностей. В этом случае предполагалось, что приобревшие популярность среди населения «поселенцы» из интеллигенции сумеют направить народное недовольство по должному руслу и что они, вообще, смогут явиться руководителями восстания.

Кроме этого, поселенцы, или «деревенщики», как их иногда называли, имели в виду, ознакомившись с местностью и ее населением, создать среди последнего прочную революционную организацию. Для этого считалось необходимым предварительно хорошо узнать наиболее крупных, выдающихся местных крестьян и только после сближения с таковыми лицами посвятить их в поставленную себе землевольцами задачу—привлечь их в тайное общество для подготовки народного восстания.

Как видим, приемы деятельности северян среди крестьян были отличны от таковых у их южных единомышленников. Как известно, «землевольцы» не только сами не прибегли сразу к «авторитарному принципу», как было ими названо пользование подложными царскими манифестами, но они даже высказались решительно против этого приема, когда наша чигиринская попытка, сделавшись известной, вызвала среди многих революционеров готовность им воспользоваться.

Однако, будучи разборчивыми в средствах, землевольцы все же не являлись сторонниками «мирной, безобидной пропаганды», по существу ничем не отличавшейся от приемов, которые, например, применяли лавристы. В таком изображении деятельности «народников», каковой некоторые «исследователи» старались ее представить, заключается довольно значительная доза умышленного извращения нашего революционного прошлого.

Значительное место в задачах землевольцев, как известно, занимала также их деятельность среди рабочих, между тем как мы, южане, совершенно игнорировали последних. Правда, и землевольцы смотрели на занятия с фабрично-заводскими рабочими как на второстепенное дело, уделяя ему относительно мало сил и внимания. В качестве народников, мы, вообще, не придавали русским рабочим самостоятельного значения, считая полезным их участие в революционном движении лишь постольку, поскольку они могли явиться связующим звеном между нами, интеллигентными революционерами, и трудящимися классами. Все же и то немногое, что тогда делали землевольцы среди городского населения, было лучше, чем почти полное

его игнорирование нами, южанами. Одни уже эти занятия с рабочими, помимо всего прочего, должны были расширять умственный кругозор землевольцев: в своих отношениях с рабочими им приходилось беседовать с ними о положении и задачах западно-европейских их братьев, следовательно, им необходимо было интересоваться и условиями жизни последних, между тем как мы, бунтари, ровно ничем, кроме народных волнений, не интересовались.

Как я уже говорил, в задачи землевольцев и южных бунтарей входили также акты самозащиты или так-называемые «дезорганизаторские приемы борьбы». В этом отношении первыми организованы были такие акты, как увоз кн. П. Кропоткина (летом 1876 г.) на знаменитом рысаке Варваре, попытка освобождения Войнаральского под Харьковом, убийство ген. Мезенцова и др.

Но наибольшей интенсивности деятельность членов общества «Земля и Воля» достигла, несомненно, летом 1878 г. До этого года пользовались популярностью только некоторые, и то немногие, его члены, к тому же лишь среди революционной молодежи. С возникновения же осенью 1878 г. газеты «Земля и Воля», организация, за которой укрепилось это название, стала также приобретать большую популярность среди широких кругов общества и рабочих.

Проявляя чрезвычайную энергию в разных сферах революционной деятельности, члены этого общества, как мы видели, ни на минуту не упускали из виду главной своей задачи—организации крестьян, на почве их воззрений и стремлений, с целью подготовки условий, необходимых для успешного народного восстания.

Таким образом, землевольцы отнеслись ко взглядам и предложениям, развитым Бакуниным, серьезнее не только, чем южные его последователи, но также и чем он сам себе все это представлял. Идя по указанному Бакуниным пути, землевольцы значительно расширили как теоретические его взгляды, так и предложенные им практические приемы борьбы.

Только на один крупный пробел у землевольцев можно было бы указать: насколько мне известно, в их среде не наметились лица со специальными способностями к деятельности среди крестьян,—между «деревенщиками» не было людей с широкой инициативой, к тому же многие жаловались на отсутствие организаторов и т. д.

Общество «Земля и Воля» верными и твердыми шагами шло все в гору, и, повидимому, ему ни откуда не угрожала неожиданная опасность. Однако, как вскоре оказалось, в тот самый момент, когда народничество достигло наибольшего успеха,—тогда же началось и его падение.

VIII.

П. Н. Ткачев.

Петр Никитич Ткачев занимал совершенно исключительное положение в революционном движении семидесятых годов. Огромное, преобладающее большинство тогдашних деятелей не только совершенно не разделяло его взглядов на задачи социалистов в России, но даже избегало каких-либо личных с ним сношений. Особенно энергично проявляли свое к нему нерасположение, чтобы не сказать вражду, эмигранты. За исключением пары-другой его личных друзей и единомышленников, все остальные изгнанники даже не раскланивались с ним. И, наряду с этим, решительно все признавали Ткачева чрезвычайно талантливым и довольно сведущим публицистом и полемистом, имевшим за собою значительное революционное прошлое и занимавшим известное положение в легальной литературе, как соратник знаменитого критика Д. Писарева в «Русском Слове». Чем же вызвано было указанное отрицательное к нему отношение? Раньше, чем отвечу на этот вопрос, приведу некоторые данныя из прошлого Ткачева, предшествовавшего его эмигрантской жизни.

Родился Петр Никитич в 1843 году в имении родителей, находившемся в Великолуцком уезде Псковской губ. Воспитывался он во 2-й Петербургской гимназии, по окончании которой, шестнадцати лет, поступил на юридический факультет. Но уже в первый год пребывания в университете, за участие в происшедших тогда студенческих беспорядках, Ткачев был арестован и заключен в тюрьму. Затем по хлопотам матери он отдан был ей на поруки. Но вскоре его вновь арестовали по делу студента Ольшевского за сообщничество в преступных его замыслах, как сказано было в обвинении; но сенат (в 1864 г.) признал это обвинение недоказанным; однако, «за имение у себя возмутительного воззвания, озаглавленного: «Что нужно народу», и «за недонесение о том кому следует» сенат же приговорил Ткачева к заключению в крепость на три месяца.

По выходе из нее на волю Ткачев сам подготовился к окончательному экзамену, который сдал блистательно на кандидата прав.

В третий раз он был арестован в 1866 г. по делу покушения Каракозова на Александра II и, наконец, в 1869 г. в четвертый раз—по нечаевскому делу. Ему, а также вскоре затем прославившейся своей речью на суде жене его, Дементьевой, предъявлено было обвинение в составлении, напечатании и распространении прокламации «К обществу». Не считая двух лет предварительного заключения, Ткачев по этому процессу был приговорен к тюремному заключению на 1 г. 4 м., а по окончании этого срока был выслан административно в Великие Луки, откуда в 1874 г. он бежал за границу.

В период этих арестов и ссылок Ткачев начал усиленно сотрудничать в передовом тогда журнале Благосветлова—в «Русском Слове»; при этом он проявил довольно значительный публицистический талант. Статьи Ткачева, написанные присущим всем сотрудникам этого журнала,—не говоря уже о Писареве, но также Зайцеву, Соколову и др.,—хлестким, забористым стилем, создали ему среди тогдашней молодежи большую популярность. А многочисленные преследования и, наконец, побег за границу поставили его в ряд наиболее крупных эмигрантов-вожаков.

Очутившись в Швейцарии, когда П. Л. Лавров незадолго пред тем приступил к изданию «Вперед'а», Ткачев вступил в число его ближайших сотрудников. Но представленная им для очередной книжки этого журнала статья до того расходилась со взглядами остальных членов редакции, что она была решительно всеми отвергнута. Тогда Ткачев стал хлопотать о создании собственного журнала, что ему и удалось: с 1875 г. начал выходить «Набат», в котором Ткачев стал проповедывать взгляды, приводившие не только в крайнее негодование, но прямо в ужас тогдашних революционеров.

Известно, что социалисты первой половины 70-х годов отличались резко отрицательным отношением к политической борьбе,—к вопросу о завоевании для России конституции, так как, в качестве бакунистов, они считали совершенно безразличным для экономического положения трудящихся масс существование самодержавия, конституционной монархии или республики: за очень ничтожным исключением, все тогдашние революционные деятели были, как известно, глубоко уверены, что социальные условия нашей родины настолько во многих отношениях благоприятны, что нам удастся из неограниченной монархии прямо перейти в коммунистическо-анархический строй. Диаметрально противоположную проповедь повел сразу Ткачев.

С первого же номера «Набат'а» он стал доказывать, что как теоретические взгляды, так и практические приемы действующих на родине социалистов,—лавристов и бакунистов,—не выдерживают ни малейшей критики, что и те и другие поступают нелепо, бессмысленно, а то и преступно, задаваясь целью при самодержавном, монархическом строе проповедывать социализм. Само собою разумеется, что Ткачев по этой же причине находил не только бесполезным, но прямо вредным «хождение в народ», с целью ли пропаганды социализма или для призыва к бунтам, так как, кроме гибели молодежи, никаких других результатов это пилигримство, по его утверждению, иметь не могло. Единственной же плодотворной задачей русских революционеров, доказывал Ткачев, может и должен стать заговор с целью захвата государственной власти революционерами. Эта задача легко осуществима в России, так как государственная власть не имеет в нашей стране никаких твердых основ, за ней нет исторических традиций, она висит в воздухе и держится исключительно благодаря лишь привычке масс к повиновению, но, при малейшем натиске со стороны революционеров, она разлетится, как пыль.

Несколько тысяч молодых революционеров, составив заговор и расшатав, путем цареубийств и других террористических актов, власть, легко, поэтому, смогут захватить ее в свои руки.

Революционеры должны проникнуться сознанием, что не пропаганда делает возможной революцию, а, наоборот, только после революции пропаганда станет возможной. Пока же необходимо не подготовлять революцию, а *делать* ее. Для этого следует создать крепко сплоченное, централизованное и основанное на строгой иерархии тайное общество, наподобие всех тех, которые с древних времен возникали для борьбы с деспотами.

Как я уже упомянул, с крайним негодованием и возмущением отнеслись мы, тогдашние социалисты, к этой новой проповеди: все в ней самым резким образом противоречило нашим взглядам, стремлениям и настроению. Являясь сторонниками европейского социализма, мы, революционеры всех оттенков, придерживались знаменитого принципа Интернационала, по которому «освобождение народа должно быть делом самого народа». Уже по одному этому мы не могли без глубокого возмущения слышать о таких ужасных якобинских задачах, как «захват власти» кучкой интеллигентской молодежи, помимо и даже без ведома народа, без трудящихся масс. Затем, в качестве анархистов и федералистов, мы не могли не возмутиться предложением Ткачева создать тайное иерархическое общество. Еще совершенно свежи были в памяти у нас представления о разных заговорщицких обществах,—карбонарских, бланкист-

*

ских и т. п., давно осужденных историей. Ко всем этим причинам на наше отвращение к предлагаемой Ткачевым организации в сильной степени повлиял незадолго пред тем обнаружившийся огромный вред, причиненный революционному движению известным Нечаевым с практиковавшимися им макиавеллиевскими приемами и принципом «цель оправдывает средства». По нашему убеждению, с задачами, которые выдвигал Ткачев, и с предложенной им организацией неразрывно связаны были мистификации, обманы, всякого рода недостойные приемы, даже тайные убийства и другие преступления. Между тем, явившись на политическую арену вслед за скомпрометировавшимся с его нечистоплотными приемами Нечаевым, деятели первой половины семидесятых годов, как известно, наоборот, отличались высоко нравственными качествами; это они старались прививать и в окружавшей их среде: известно, напр., как строги были «чайковцы» при приеме в свой кружок нового члена, свойства которого рассматривались на общем собрании, и достаточно было только одного отрицательного голоса, чтобы кандидат был отвергнут. Аналогично, хотя и не столь строго, поступали нередко и в других тогда кружках.

Понятно, поэтому, почему, при одном лишь упоминании о «централизме», «иерархии» и т. п. жупелах, у многих из нас, тогдашних революционеров, дрожь пробегала по телу, чуть не делались судороги от злости, негодования и возмущения. Ткачев одним своим именем вызывал у многих к себе такое озлобление и негодование, какого не припомню, чтобы кто другой из эмигрантов внушал к себе.

Правда, в приемах своей практической деятельности Ткачев мало, если не сказать—вовсе, не считался с общепринятой в революционной среде моралью: он не останавливался ни перед какой мистификацией, ни заведомой ложью, клеветой и пр. Он готов был войти в ту или иную сделку с далеко не чистоплотными лицами, раз мог извлечь из них какую-либо выгоду; короче, не на словах только, но и на деле он придерживался принципа «цель оправдывает средства» и в этом отношении являлся верным последователем Нечаева.

Правой рукой Ткачева и соредактором «Набат'а» был хорошо известный эмигрант Каспер Турский, пользовавшийся еще более незавидной репутацией, чем Ткачев, так как он был нечистоплотен не только как политический деятель, но и как частный человек: циркулировали довольно правдоподобные слухи, что за ним водятся деяния чисто-уголовного характера. Об этом господине, в сильной степени компрометировавшем всю тогдашнюю эмиграцию, не излишне сказать пару слов.

Сын богатого польского помещика одной из юго-западных губерний, Турский, будучи студентом Харьковского университета, принял некоторое участие в польском восстании 1863 г., за что был отдан под надзор полиции, а затем отправлен в Архангельскую губ. Оттуда в 1869 г. он бежал за границу, в Париж, где участвовал в Коммуне 1876 г., в числе ее польских деятелей, в качестве адъютанта полковника Компанского. Его участие в Коммуне ограничилось проектами тайных убийств некоторых членов «белой» польской партии, как кн. Чарторижского и др., с чем не соглашались остальные «крайние» польские эмигранты. После подавления Коммуны, Турскому удалось бежать в Швейцарию, и он заочно был приговорен к смерти. Обладая довольно значительными материальными средствами, взятыми в приданое за богатой невестой, он, как во Франции, так и в Швейцарии, вел очень широкий образ жизни, совершенно не соответствовавший политическому эмигранту. В конце семидесятых годов он сходится с Ткачевым, становится ярым проповедником якобинизма, бланкизма и нечаевщины.

Кроме этого помощника, у Ткачева за границей были еще известны: Франк, Григорьев и Лакиеро, игравшие второстепенные роли.

Совершенно ничтожно было во все время существования «Набат'а» и вообще число его приверженцев среди эмигрантов; но еще ограниченнее, если это возможно, был их контингент в России, к тому же, насколько могу припомнить, он состоял почти исключительно из женщин. В Одессе к «набатисткам» принадлежали: Южакова (сестра известного литератора), Елена Россикова (знаменитая организаторша ограбления херсонского казначейства весной 1879 года) и Галина Чернявская. Но главное «гнездо» якобинизма, а следовательно, и «набатовцев», находилось тогда в Орле, где действовал среди молодежи известный старый заговорщик Зайончневский, имевший некоторый успех. Наиболее видными его последовательницами там явились сестры Оловянниковы, из которых старшая, Марья Николаевна (она же Кошурникова, Баранникова и Полонская), была потом одним из самых крупных членов «Исполнительного Комитета» партии «Народной Воли». Только в Киеве к ткачевцам принадлежал один мужчина, некий Паначини, но и этот господин своей приверженностью к якобинизму мало лавров прибавил этому направлению, потому что, будучи арестованным (летом 1876 года) на границе с транспортом набатовских изданий, он не только всех и все выдал, но даже пустился на провокацию. Жертвой ее стал проф. Львовского университета Богданович, поплатившийся каторгой за оказанное им Паначини содействие при переправе изданий.

Перечисленные мною выше сторонники взглядов «Набат'а» в России не составляли никакой организации; более того: никто из них в описываемое мною время не входил в какой-либо из действовавших тогда кружков. Между тем, когда, после выстрела В. И. Засулич в генерала Трепова, в разных местах России революционеры начали применять насильственные приемы самозащиты, Ткачев на столбцах своего органа объявил, что все эти факты совершаются его последователями, составляющими тайную организацию, построенную иерархически. Эта заведомая ложь в сильной степени возмутила всю эмиграцию. По этому поводу состоялся ряд сходок, на которых обсуждалось, как реагировать на заявление «Набат'а». В результате решено было, что компетентные и авторитетные лица, незадолго пред тем приехавшие из России и близко знакомые с положением тамошних кружков, должны выступить с печатным опровержением. Действительно, вскоре затем на столбцах «Общины» (в №№ 8—9), за подписями: И. Бохановского, моей, В. Засулич, С. Кравчинского и Я. Стефановича, появилась небольшая заметка, в которой решительно опровергалось сообщение «Набат'а». Ткачев не оставил без ответа этого протеста: не опровергая наших доводов и доказательств лживости его сообщения, он с присущей ему развязностью и хлесткостью заявлял, что наша заметка как раз на руку III-му отделению, что, пожелав наказать нас, Господь отнял у нас разум и т. д.

Отношения между эмиграцией и Ткачевым после этого, сильно тогда нашумевшего за границей, инцидента еще более обострились.

Таким образом, ни своими теоретическими взглядами, ни практическими приемами, а также ни личными качествами—своими и некоторых своих приверженцев—Ткачев не представлял ничего привлекательного. Тогда, летом и осенью 1878 года, мы все были глубоко убеждены, что русские революционеры не только далеки то якобинизма, но что к нему они и впредь будут относиться с глубокой антипатией. Но, увы, неимоверно скоро оказалось, что мы глубочайшим образом заблуждались на счет стойкости как взглядов, так и чувств тогдашних наших товарищей. В этом отношении Ткачев обнаружил куда большую дальновидность, чем мы все: не прошло и пары лет, как возникшая в 1879 году партия «Народная Воля,» вскоре затем ставшая господствующей, не только усвоила задолго до того пропагандированную Ткачевым систему тайной иерархической организации, но, как известно, поставила себе также целью, путем террора и заговора, захватить в свои руки государственную власть... Кто бы мог поверить во второй половине семидесятых годов, что восторжествуют антипатичные всем взгляды почти что презираемого всеми якобинца Ткачева? Но история,

как давно известно, часто откалывает совершенно неожиданные коленца.

В виду чрезвычайно крупного значения, которое в истории нашей страны сыграли народовольцы, приходится признать, что проповедь Ткачева оказалась далеко не безрезультатной и что деятельность его далеко не прошла бесследно. Наоборот, его идеи и приемы имели потом огромный успех в течение нескольких десятилетий, да, в сущности, окончательно они не исчезли и в настоящее время...

Но одновременно с идейным успехом лично Ткачева постигла очень печальная участь: весной 1883 года он заболел психически, после чего вскоре скончался в одной из парижских лечебниц.

Как часто это бывает, история оказалась крайне несправедливой к Петру Никитичу: до сих пор, насколько мне известно, никто из лиц, писавших о партии «Народная Воля», не указал на то громадное значение, какое имели идеи и планы Ткачева среди ее членов. Будем надеяться, что со временем он найдет справедливую оценку своей деятельности на страницах беспристрастной истории русского освободительного движения.

* * *

Следовало бы, в заключение, остановиться еще на Г. В. Плеханове, В. И. Засулич и П. Б. Аксельроде, положивших в описываемое мною время основание Рус. Соц.-Дем. Раб. Партии; но в виду чрезвычайно важной роли, которую они сыграли в судьбе нашей страны, я предполагаю им, т.-е. группе «Освобождение Труда», посвятить отдельный очерк.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

